
Елена КРЮКОВА

ИЕРУСАЛИМ

ХОЖДЕНИЕ ПО ГОРЮ И РАДОСТИ СВЯТОЙ ВЪРЫ,
МОНАХИНИ ГОРНЕНСКАГО ЖЕНСКАГО
МОНАСТЫРЯ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ ВЪ ИЕРУСАЛИМѢ,
А ТАКЖЕ ПРАВДИВОЕ И ДОСТОЙНОЕ СКАЗАНИЕ
ЧУДЕСЪ, ЧТО СЪ ТОЮ СВЯТОЙ ВЪРОЙ
ВЪ МИРѢ СРЕДЬ ЛЮДЕЙ ПРИКЛЮЧИЛИСЯ

ХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ. ПАЛОМНИЦА

Крест мой — черный крест. Укрась его зимою, как елку.
Воткни в сугроб. Я погляжу окрест.
Тьма непроглядная — руки мои осязают праздник земной,
и стоять недолго
Черной елкой, в крестовине боли,
светлейшею из невест.

Крест мой — он только мой. Я его не покину.
Мрак живых ладоней безлюден, беспрогляден и наг.
Вознесу молитву праотцам, Отцу и Сыну,
а Дух Свят — алмазным снегом: у врат полночных
на коленях, бедняк.

Ночь ног, пыль миров, волосы мои инеем схватит.
Голая, после прожитой жизни, вишу на кресте

Елена Крюкова — поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Родилась в Самаре. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Нева», «Знамя», «Дружба народов», «День и ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Зинзивер», «Слово», «Дети Ра», «Волга», «Юность» и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Врата смерти», «Тибетское Евангелие», «Рай», «Беллона», «Солдат и царь», «Русский Париж», «Пистолет», «Царские врата» и др.). Лауреат премии им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» (Санкт-Петербург) за лучший роман 2012 года («Врата смерти», № 9 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012). Лауреат региональной премии им. А. М. Горького («Серафим», 2014), Пятого и Седьмого Международных славянских литературных форумов «Золотой витязь» («Старые фотографии», 2014; «Солдат и царь», 2016), Международной литературной премии им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), Международной премии им. А. И. Куприна («Солдат и царь», 2016). Дипломант литературной премии им. И. А. Бунина («Поклонение Луне», «Беллона», 2015).

и едва дышу, и уже не дышу, и до Воскресения хватит
меня одной — голодному миру — куска огненной жизни
в седой пустоте.

Я чернею великой скорбью. Я вижу время.
Крепко жмурюсь: а вот это видеть нельзя.
Голой елкою, без бус и гирлянд, без медовых свечей,
я стою, лечу надо всеми,
над пророчествами всеми своими
по дегтярному небу
слезным алмазом скользя.

Я всего лишь человечица, не ангелица,
я всего лишь паломница в степь,
где планет плачет волчий полынный вой,
где мой Бог сможет, распятый, уксусом,
как дамасским вином, упиться —
всем избитым, в крови, бессмертием
наклонясь надо мною, живой.

Глубокой и беспроглядной ночью, когда за изломом улицы, за ее крутым, почти под прямым углом, бешеным поворотом дымливо и сутемно курился январский Енисей, Вера Емельяновна Сургут собралась в Иерусалим.

Квадрат окна слишком жестко, безвыходно очерчивал ее мир — в лицо его, то бело-серебряное, то золото-осеннее, то мрачное, чернее угля, то слишком синее, синее купороса, она, изнутри нищего жилища, глядела то и дело. Вера Емельяновна жила одна, и это было хуже всего. Ночью она часто боялась умереть: просыпалась и прислушивалась к себе, к гулкому и частому биению сердца. Врач из районной поликлиники, с виду схожей со старинной дощатой ладьей — Вера видела такую лодку в музее, еще ребенком, — вздыхал глубоко: «Тахикардия у вас, голубушка, несчастненькое у вас сердечко! Трепыхается! Чем бы его таким вкусным подкормить, сердечко ваше голодное, ума не приложу. Давно ли у вас это трепыхание началось? А?» Вера не знала, что врачу отвечать: она не могла так глубоко нырнуть во время, чтобы обнаружить там исток недуга.

Долго сидела за столом, сторбившись, добрых полночи. Время вилось над головой, потом стало валиться вбок, истаивать, вспыхивать и гаснуть, теряться. Давно отгремел бодряцкий гимн по радио — приемник она никогда не выключала, черный ящик старательно и отчетливо играл парадную музыку в полночь и в шесть утра, — утих детский визг наверху, угас лай дальних собак, только сосед за стеной глухо и влажно покашливал — вечная простуда, а может, вечный табак, а может, вечная чахотка. Потеряв время совсем, она вздрогнула: явилась боль пропажи. С трудом встала. Протянула руки к окну. Руки Верины сами вцепились в погрязнелые, с золотой вышивкой, занавеси, знамена старых времен, хотели запахнуть поплотнее, чтобы не видеть света фонарей, их горящей тоски, — а вместо этого вдруг рванули ткань в разные стороны.

Угрюмый город. Беззвездная ночь. Дома шли вверх, все вверх и вверх, пытаясь каменными головами уткнуться в небо, — да все равно ростом не вышли, небо было шире, выше и дальше любого людского камня. Стрельчатые, треугольные, в виде столбов, с крышами острыми и плоскими, слепые, скорбные, а вот горят два окна, а вот мгновенно, резко вспыхивает непрерывная цепь огней, опоясывая узкую высотку. Домов

много. Убежища из железа и бетона, из огнеупорных кирпичей, и внутри них живет, спасается человек. Он спасается от смерти.

Вера, стоя у окна с распахнутыми руками, вдруг догадалась об этом.

И ее резко, быстро, быстрее вспышки снега под больным фонарным огнем, накрыла черный крест: все конечно. Конечно все. И все. Бесследно проходит все. И исчезает. Это как вода. Вон он, Енисей, — дымится, полоумный зимний вулкан, парит за чередой домов, что каменными коровами идут к нему на водопой. Люди сначала живут, потом умрут. Как это перенести?

Мысли простые, обычные. Нелепые, она еще не старая, кто-то над нею и посмеется, зайдется от смеха, если она расскажет об этом. Жалко самое себя стало? Ах ты, кошечка, за ухом чтобы почесали, захотелось?

Отступила от окна на шаг, другой. Взора не отводила от мрачного полотна в квадрате старой оконной рамы. Белого в сибирской ночи было больше, чем черного. Вера глядела, глядела, жадно, внимательно, зрачками вспарывала белые силки, что некрепко сшивали крыши и изгибистый чугун фонарей, тяжелые сугробы и мохнатые от густого куржака провода и карнизы. В такие лютые ночи погибают зимние птицы, комьями валясь с могучих разлапистых елей, со сверкающих пухом инея длинноиглых сосен. Вера вообразила себя такою птицей. И чуть было не упала перед окном, и выпустила из скрюченных пальцев шторы, и судорожно ухватилась за подоконник. Он холодом, как давно мертвый материн утюг, ожег ей ладони. Под фонарями взвивалась метель, и Вера чувствовала: через полчаса эта робкая вялица перейдет в мощную пургу, и пурга эта пожрет и дом, и город, и ее у страшного, в диких морозных узорах, окна, и Енисей, что там, за поворотом, гудит, ворчит и дымится. Адский зимний дым Енисея, с детства знакомый. Ребенком она пугалась, когда мать, больно вцепившись в ее детскую лапку, вытаскивала ее из-за поворота — после бани обе, женщина и девочка, шли, укутанные в шали, мать в большую, козью и дырявую старую шаль, дочушка в маленькую, кроличью, беленькую и новехонькую, — и Енисей разверзлся под ногами урчащей иззелена-серебряной пропастью, и далеко в ранней ночи маячила, вмерзала в заберег черная пристань, и к ней жался, в ее бок вжимался остроклювый грязный, с ярким белым номером на боку, катерок, железный цыпленок. Вера так же хотела вжаться в бок матери, укутанной в шаль и старую овечью шубу, прислонилась к ней, запнулась валенком за трубу поперек дороги и растянулась. Мать завопила благим матом: «А-а-а-а, ты нарошно, нарошно! опять за свои штучки! дрянь такая! вся в отца! вся! вся!» Отец Верин, она знала, ей соседка, безрукая Зита, нашептала, сидел в заключении далеко отсюда, на севере, в загадочном городе Туруханске. Вера на-smелилась и спросила однажды у матери, где это Туруханск. Она думала, мать на нее, по обыкновению, заполошно заорет, а мать тяжело, прерывисто вздохнула и выдавила, как едучую мазь из аптечного тюбика: «Это, дочка, в аду». — «А что такое ад?» — спросила Вера. Тут мать озлилась и прошипела: «Не твоего ума это дело».

В другой раз ей удалось вывести у матери, что ее отец жив, только живет в специальном месте, для преступников, кто захотел сделать плохо их любимой родной стране. «А оттуда убежать можно?» — робко шепнула Вера. Мать сидела на продавленном диване и шила. Пришивала цигейковый воротник к Вериной шубке. «Нет, дочь, там люди сидят в бараках, за решеткой, и по забору обкручена проволока колючая; кормят их баландой, будто бы свиньи они, и мрут все там, мрут как мухи. Может, и батька твой уж сдох давно. Или в затылок ему стрельнули». Мать шмыгнула и утерла нос ладонью. Уколола палец иголкой и выматерилась. Высосала из пальца кровь. Сплюнула на пол. Вера растерла подошвой на паркетине плевок. «Брось ты меня слушать. Бормочу я всякое. Вот отмотает срок и явится. И опять за старое: пить, гулять. Э-э-э-э-э-э!» — «Мама, а что такое виноград?» — без перехода спросила Вера. Мать скусила

нитку, долго отгрызала. Опять плюнула. «Ягода». — «А ее едят?» — «Едят». — «А ее продают?» — «Продают». — «Мам, купи мне!» Мать разгладила серую мышиную цигейку жесткой ладонью и громко выдохнула: «О Господи!»

«Кто такой Огосподи?» — тихо спросила Вера. И мать дала ей подзатыльник. Негласно, так, будто кошка смазала лапой, — чтобы отстала.

Отец так и не вернулся никогда.

Мать Верины жила долго и умерла в старости, вся сморщенная, бессильная, ходить уже не могла, от кровоизлияния в маленький усохший мозг — ее разбил паралич, скрутил ее в два дня, Вера и ахнуть не успела. Она не знала, как ухаживать за такими больными, и все клала матери на лоб мокрую тряпку, а потом в дверь ввалились соседки и наперебой стали тархтеть: «Разрабатывай ей руку, руку, руку в локте сгибай! ложку в пальцы засовывай, чтобы держала! выпустит, а ты опять засунь! упражняться надо, мышцы упражнять!» Ложка валилась на пол. Тарелка с супом падала, задевая локтем, разбивалась, суп разливался по тусклому паркету. Вера не помнила, сколько лет они с матерью жили в этом доме: всю жизнь. Она глядела на высохшее тощей рыбкой-чебаком тельце матери в гробу, обитом атласом цвета неба, и думала: «Вот и я так тоже когда-нибудь лягу и буду лежать и молчать». Одна соседка надела ее матери на шею крестик на грубом гайтане, другая всунула в сложенные руки образок величиной с дикое яблоко. До Троицкого кладбища доехали на автобусе — Вера тогда работала кондукторшей, и начальство автобусного парка милостиво выделило ей на похороны матери бесплатный автобус. Вера, пока на кладбище ехали, обводила мрачными глазами людей в автобусе: половину из них она не знала и уже не узнает никогда; кто они все были? Случайные прохожие? Голодные, возжаждавшие поминоков со вкусной, с изюмом, кутьей? Матери старые друзья? Не было ни поминоков в дешевой столовой, ни кутьи, ни водки. Не водилось таких денег у Веры. Сладкий кагор принесла соседка, что на груди покойницы уложила образок святителя Николая Чудотворца, а целую сумку булок — незнакомец, всклокоченный, как композитор Бетховен со старинной гравюры в Вериной детской книжке без начала и конца. Когда священник, молодой сивый парень, длинные волосы в косичку заплетены, в холодном храме отпел усопшую рабу Божию, он осторожно вынул из ее синих скрюченных пальцев Николу Угодника. «Не положено с иконой святой в землю класть», — сурово сказал он и протянул святителя Николая молча, прямо стоявшей Вере. Вера слушала, как нараспев, печально говорит, а потом густым басом поет батюшка. Она не понимала тягучих древних, заковыристых слов. В школе их никто не учил, что есть на свете Бог; на свете был красный галстук, потом комсомольский значок, потом все оканчивали школу и забывали эти крики: «Будь готов!» — «Всегда готов!» — и салют под алым знаменем, что вилось на холодном ветру на школьном дворе, на высоком, как мачта, флаштоке. Прямо на кладбище, как засыпали Верину мать землей, соседки раздавали из сумки булки, все отхлебывали из бутылки кагор, из темного стеклянного горла, и передавали другому. Прожевывали булку, пропитанную вином, и крестились. Вера не первый раз в жизни видела, как люди крестятся; и понимала, что вот теперь-то, когда мать родную хоронит, здесь, на Троицком кладбище славного города Красноярска, она должна послушно слепить пальцы в щепоть и наконец-то в жизни перекреститься; но стыдно ей было, и медлила она. Будто кто-то ее наотмашь должен был плетью хлестнуть по лицу — за то, что она здесь, на ярком, солнечном, резучем снегу, возьмет да широко, вольно на себя крест наложит. Зимний яркий, слишком синий, люто морозный день! Зима, все время зима. И мать умерла зимой. Вера глядела, как голодные люди торопливо жуют булки, как румянятся на морозе их щеки, как ходит, мечется из рук в руки темная, будто обожженный снаряд, бутылка, и вдруг ей почудилось, что не

на кладбище стоит она, а на рынке и все тут продают, что надо: и вино, и зимние плоды, золотые слепящие мандарины, и подгорелые пирожки, и кудлатые ананасы, и коричневый, в крынках и стеклянных банках, саянский мед, и аккуратно рубленное острым топором дымящееся мясо — грудинку, корейку, оковалки, — и мертвых кур, и мертвых рыб, и вяленые окорока мертвых медведей, и мертвых глухарей, и мертвую строганину, и всю мертвечину, что люди едят, едят, бесконечно грызут, перемалывают зубами-жвалами. Ей стало худо, перед глазами возникла тьма, и она, подогнув ноги, упала перед свежим холмом. Люди, черные свечки на снегу, в темных серых пальто и черных катанках, сгрудились ближе к ней, пытались поднять на ноги, закричали, загомонили. Могильщики заваливали земляной холм разрытым снегом, охлопывали грязными лопатами. Вере, что клонила в бессознании голову на плечо, тыкали в зубы горлом бутылки. Она бессмысленно глотнула вина и ожила.

Ее уводили с кладбища под руки. Снег визжал под сапогами. Вера оглянулась и поймала глазами черный чугунный крест. Под чугуном лежала ее мать.

Потом, в жизни, она работала еще на всяких-разных работах: сторожихой, кастеляншей в рабочем общежитии, укладчицей на кондитерской фабрике. Кондуктором мотаться по тоскливому асфальту ей до смерти надоело, к тому же у нее на глазах в автобусе зарезали молодую девчонку, Вера заступилась, а убийца взял да на Веру ножом замахнулся. Дело было в последнем рейсе, в салоне никого, девка лежит на полу, истекает кровью, а Вера хватается за бешеный, увертливый светлый нож. Да, светло, ярко лезвие сверкало. Будто огнем горело. Ладони у Веры оказались все крест-накрест порезанные, а она уж и не помнит, как визжала, как шофер автобус останавливал и в салон, грязно ругаясь, вбегал. Шофер сильный и смелый мужик оказался; парню тому руки скрутил. Парень пытался его укусить. Шофер вбил ему кулак в скулу. Вера сидела, уронив изрезанные руки на колени, и у нее по коленям и ногам текла ее теплая кровь.

Она отлежалась. Порезы зажили. Но что-то важное, теплое тот парень у нее внутри надрезал — никогда не думала Вера о том, что такое душа, сердце, и вдруг стала думать о них и их чувствовать. Сердце стало биться быстро и неровно, задыхаясь, куда-то отчаянно опаздывая, а душа стала болеть, томиться и плакать, и Вера теперь понимала, как это, когда из глаз слезы не текут, а внутри все слезами просто обливается. Иногда эти слезы души прорывались наружу. Это могло случиться где угодно: в трамвае, на улице, на берегу Енисея, в пельменной, где она, промерзнув на остановке и не дождавшись железной повозки, жадно ела разваристые пельмени, обильно посыпанные молотым перцем, — и люди смотрели, как слезы щедро текут по ее лицу и стекают по шее за шарф, за теплый воротник. И Вера сидит, положив ложку на стол, и слез не вытирает.

Пыталась научиться вышивать: рукоделье, заделье, да как все бабы! Ниток накупила, иглок. На подушке-думке вышила красную шелковую дорожку. Не понравилась дорожка. Вера вышила еще красную плашку, поперек. Получился красный крест. Не понравился он Вере. Что за больница! «Скорая помощь», — ядовито шептала себе. Спорола шелк и снова вышила крест, другой: густо-черными, угольными нитками.

Чугунный черный крест. Как на могиле матери. В снегах. На белой наволочке. Забросила думку в угол дивана.

Когда на диване придремывала, переворачивала думку крестом вниз. Он углем из неостывшей печи жег ей щеку.

Крест, даже спрятанный, казался ей громадной буквой, грозной буквицей: она нарисовала ее, а языка не знала, с которого слово на эту букву начинается.

У нее была любовь, но свадьбой не закончилась. Человек, что ходил к ней украдкой, забегал на час, на два, был женат и тяжело болен: носил в себе насквозь больные

почки. Вере он сказал об этом не сразу. А тогда, когда она уже крепко прикипела душой и телом к нему. Она не просила его бросить ради нее семью — жену и сына; не упрасивала лечиться и выздоравливать. Она хорошо знала: от судьбы не выздоравливают, и надо тихо принять то, что тебе написано на роду. Хоронить любимого человека она не пошла: ей чудилось, она у могилы опять упадет и потеряет разум, но больше не очнется. А ей еще хотелось жить.

Годы шли, она жалела, что не родила от этого мужчины ребенка; а иногда воображала рядом с собою то мальчика, то веселую девочку, но смутно таяли в слезном тумане детские фигурки, ускользало из ухватливых, уже слабеющих рук детское сонное тельце. Дети! Не каждому дано испытать это счастье. Настал день, когда Вера, стыдясь и пригибаясь, будто кто ее тут увидит и уличит в неведомом преступлении, пробралась в Свято-Троицкий собор и, оглядываясь по сторонам, как рысь из-за колких еловых ветвей, купила икону и две толстых свечи. Икону она выбрала сама: прямо на нее смотрели огромные, широко распахнутые темные глаза, в их глубине ходил светлый огонь и вспыхивали яркие золотые искры. Глаза летели прямо в нее с крупно, во всю икону, изображенного мужского лица. «Спас Нерукотворный, Господь наш», — благоговейно сказала продащица иконок и свеч и быстро, троекратно осенила, как осолила, себя крестным знаменiem. Вера отсчитала деньги, ее щеки заливала стыдная краска. Ничего не могла она с собой поделаты: в церкви жгуче-стыдно ей было. Она засунула сверток в сумочку, пришла домой, повесила Спаса над телевизором, а свечи воткнула в старый подсвечник, подаренный ей на день рождения ее мертвым возлюбленным. Зажгла. Свечи горели, чуть потрескивая. Вера сказала вслух: «Господи, пошли мне счастье». Одиноким голос ее прозвучал холодно и глухо под голым потолком нищей комнаты. Старый буфет, старый стол, старые стулья отзвучивали гулкой насмешкой. Свечной огонь отсвечивал в стеклах буфета, отражался в старом зеркале. «Я старая, я уже больше никогда не полюблю и не рожу», — подумала Вера о себе, и очень больно ей стало. Но слезы не лились. Их уже у нее в запасе не было.

* * *

Она все стояла посреди ночи и глядела в окно.

Год назад, такой же лютой зимой, морозы под минус пятьдесят, все вокруг синее от мощного куржака, мертвыми узорами иней оплетал все, из чего состоял видимый мир, захворала ее соседка: та, что на похороны ее матери принесла бутылку темно-красного сладкого кагора. Соседку звали Анна Власьевна, в далеком прошлом она сначала командовала на войне отрядом, потом стала учить детей, потом, выйдя на пенсию, задумчиво плела кружева на коклюшках. Родом Анна Власьевна была из Вологды, и, гордясь, светло и беззубо улыбаясь, говорила она Вере, что происходит из семьи, где женщины от века занимались кружевом. Кружевница, это ж надо, вертела Вера головой, мяла в пальцах, разглядывала снежные, волшебные струи, нитяную вьюгу, что заметала крохотную уютную комнатенку Анны Власьевны, спинки кресел, диваны и стены. Анна Власьевна вбивала гвозди в стену и вешала на гвозди кружевной звездчатый туман; заходила Вера, ахала, охала, обе женщины разглядывали и разглаживали сияние вечной зимы, что уже молча, строго ждала их за поворотом.

Анна Власьевна поручала Вере куда-нибудь определять ее изделия: все равно куда, в магазин или на рынок отнести, сделать выставку в школе, вернисаж в галерее, лишь бы жило кружево, лица людей красивой метелью мело! Все грязь, всю нечисть из них вычищало! Вера морщила лоб, соображала. Но ничего не могла сообразить, кроме того, чтобы собрать царскую легкую белизну в котомку да оттащить на рынок: глядишь, купят, и у старухи к пенсии денежка будет! Продавала кружева за копейки. Стояла за

рыночным лотком среди публики, место было куплено, от себя деньги оторвала, народ подходил и мял в пальцах тонкотканые чудеса, а она смотрела и сглатывала слюну: нечего было говорить. Опять стыдилась: стыдно было торговать, совать в руки вещь и получать за нее бумажки. Однако старуха Анна Власьевна сильно радовалась этой продаже и горячо благодарила Веру: «Ах, Верушка, спасибо-то какое тебе, вот и живенько мое кружевцо, вот и славненько!» Вера на вырученные за кружево деньги покупала Анне Власьевне пищу и лекарства.

Анна Власьевна слегла, когда уже не могла сидеть за коклюшками. Пришла Вера однажды, а дверь открыта, а старуха на диване лежит, и даже без простынки под собою; круглое лицо уже легко улетает, а седые пряди тяжелеют; только успела на себя, пока еще рука действовала, вытертое верблюжье одеяло натянуть. С трудом разлепила губы, натужно, беззубо вытолкнула в мир бедные слова: «Верушка, меня... удар хватил... Может, и не встану... Ты... поухаживай за мной... чуть-чуть, солнышко, я постараюсь... не залежаться...» С коклюшек свисало последнее старухино кружево: будто полночные снежинки, ясные, алмазные, друг с другом сцепившись, радостно заструились на сиротскую, горькую землю со смоляного зенита.

Лежала Анна Власьевна на том старом скрипучем диване почти год. Ее не стало неделю назад. Перед самым Новым годом.

Ничего старуха не отписала ни Вере, ни другим соседкам, что ходили к ней, заходили в вечно, безбоязненно открытую дверь, а вдруг умру, и ломать будут, жалко улыбаясь, шамкала кружевница, — а у нее просто ничего и не было: ни денег наличных, мертвых бумажечек, весело шуршащих в старом кожаном, похожем на сердечко портмоне, ни сберкнижек, ни дорогуших камешков, старательно оправленных в тяжелое, темное от старости золото, — ну совершенно ничего, кроме ее родных, зимних кружев, заматавших вечной метелью ее долгую тоскливую жизнь.

Кружева старухины растащили соседки. Вере удалось припрятать немного струящейся дырчатой, нитяной вьюги. Когда Верины руки прикасались к Анниным кружевам, у нее мгновенно замерзали ладони. И ей казалось, что по ее ладоням ползут ледяные, морозные узоры. Это смерть касалась Вериных ладоней своими. Просила ее о чем-то. Смерть тоже хотела праздника. Нового своего года.

Вера скосила глаза: вон она, елка Анны Власьевны, теперь у нее в углу комнаты, она перенесла елку к себе из опустелой квартиры. Вера на глазах старухи наряжала эту ель. По приказу кружевницы Вера вытащила из кладовки, сняла с высокой полки, встав на цыпочки и кряхтя, громадный, как дом, ящик, и потряху его боялась, бережно несла: она уже знала, что там, внутри. Поставила на стол, развернула ветхие картонные лопасти. В глаза ей ударили косые цветные лучи, и она радостно и потрясенно зажмурилась. Ящик был доверху полон старинных елочных игрушек; у Веры отродясь не было таких. «Это же роскошь какая», — шептала она, напуганно и медленно вынимая из ящика и раскладывая на столе, будто дорогушие, в хрупких ампулах, заграничные лекарства, умопомрачительные игрушки: картонные грибы с крашенными маслом шляпками и белыми ножками, а внизу на ножке поблескивал зеленый крап, травка, значит, и к ножке приделана медная проволока, чтобы обмотать ее вокруг толстой колючей ветки; фонарики, собранные из стеклянных трубочек, а внутри нежно сияло дутое стекло, вылитое в виде большого золотого зерна; плоских медведей, белок и рыбок из золоченого картона, на нитяных петельках; шары, отливающие морской синью и лиловой, в сизом налете, сливой; стеклянные часики, посыпанные сверху блесткой стеклянной крошкой, это снегом, так выходит, и навек на часах тех застыло священное время — без пяти минут полночь; полые внутри, нежнейшие лодочки с ватными гребцами, а вместо весел у них в руках промасленные щепочки; и вот под руки ей сама скользнула громадная, как сама никчемная промчавшаяся жизнь, золотая еловая шиш-

ка, а крепления-то у нее не было, чтобы ее к ветке прицепить; и Вера смущенно и горестно оглянулась на хозяйку: «А эту куда?» Старуха через силу махнула рукой, и Вера проследила направление ее сморщенного указующего перста: на верхушку. Старые мокрые глаза умиленно глядели, как Вера, опять по-детски встав на цыпочки, вытянувшись вся, надевает, натискивает чудовищную золотую шишку на елкину макушку. И когда шишка была надета благополучно, Вера отступила в сторону, шагнула широко и чуть не упала, чуть не свалилась на наполовину наряженную елку. И обе ахнули от ужаса: сгинет! — а потом от восторга: цела! «Елка — это госпожа, она любит богатые украшения, привереда», — бормотала Анна Власьевна сквозь остатки зубов, и Вера еле разбирала слова.

А когда ель была Верой наряжена целиком и полностью, Анна Власьевна вдруг прищурилась непонятно, скорбно закусил рот, щеки ее впали внутрь черепа, под губы, лицо пострашнело, и с губ ее слетели слова, уж совсем Вере непонятные: «Снимай... все снимай... обратно... в коробку клади!» Как, все игрушки снимать? — изумленно переспросила Вера и обвела елку потерянными жестом, будто прощалась с ней. Да, да, кивала старуха, все, все!

И Вера, с дрожащими губами, столь же осторожно, едва дыша, снимала игрушки с ветвей: отстегивала замочки, развязывала завязки, стаскивала петли, разматывала старую медную проволоку. Все игрушки вскоре лежали в ящике и молчали. Вдруг сверкавший наверху блестящей драгоценной кучи фонарик свалился вниз, в прогал между стекляшек, и легкий звон ясно дал Вере понять: разбился.

Старуха велела укутать голую черную ель в белые кружева. И получилось так, будто елку замела метель; снежное кружево вспыхивало и мерцало, и плакала Вера, поднося ко рту больной мензурку со снадобьем, а старуха уже не могла глотать и говорить не могла, могла только смотреть, слезно и благодарно. Губы еще шевелились, а слова умерли. Глаза вспыхнули напоследок. Руки лежали на груди бездвижно. Вдруг палец согнулся и слабо, нежно поманил Веру. Вера наклонилась и приставила ухо ко рту Анны Власьевны. Старуха чуть слышно шептала: «Е-ру... са-лим... Еруса... лим... Ты... за... ме-ня... ту-да... сту-пай...»

Так, с легким выдохом: «Е-ру... са... лим!..» — и застыли круглое крупное лицо и тяжелые, лежащие двумя могучими осетрами на крупной груди, опухшие руки — эти пальцы, Вера видела, вывязывали снег и лед, облака и ветер, они вывязывали, плели счастье, и никто из людей это нежное счастье в глаза не видел. Застыло тело; оно, грузное и крупное, показалось Вере огромной енисейской баржей, приварившейся на всю долгую, вечную зиму к берегу, вмерзшей в твердый белый гранит льда. А душа, где она? Куда же девается все-таки эта душа? Ведь есть она внутри Веры, есть! Вот же, под рукой бьется!

Вера прижала левую руку к груди. Слева и правда билось, оголтело и больно. В чулом шкафу Вера слепо нашаривала чужие лекарства, ей было все равно, что — капли, таблетки, — она глотала горечь, и ей хотелось жить. Жить, еще немного! Еще чуть-чуть пожить! Не уйти! Как все они!

...как все они.

...а ты разве как они?

...сочтены твои дни. Погаснут твои огни. Не хочу гаснуть. Я хочу, чтобы всегда. Все люди умирают? А я останусь. Что надо сделать, чтобы не умереть? Сидеть дома, чтобы не убили? Не ездить, чтобы не разбиться? Какое хрупкое тело, стекляшка, фарфор. Дрянь жизнь, если она такая хилая.

...время — вот кто убьет...

...неужели нет ни одного человека на свете... ни одного, чтобы — жил всегда... вечно...

...а — Бог? Кто такой Бог? Кто бы объяснил. <...>

* * *

Насилу зари дождалась.

Как посветлело туманное небо, подернулось белесой, словно инистой, дымкой, Вера повязала с кистями платок, белый, как метель, усыпанный ткаными яркими розами, всунула ноги в зимние короткие сапожки, еще материнские — она много чего донасшивала за матерью, — накинула на плечи старую дубленку с рыжим лисьим, долыса вытертым воротником и отправилась к старушке Расстегай. Чтобы к Расстегай попасть, надо было лишь дорогу перейти.

«Вот бы так и в Иерусалим этот попасть: раз, и в дамки. Нет, за ста землями он!»

Сдернула варежку и постучала. В руку зубами вцепился мороз. Костяшки пальцев заболели от стука.

Стучала смело — в окне у старушки Расстегай горел свет, она вставала ни свет ни заря и молилась.

Шарк-шарк — раздавались за дверью шаги.

— Кого Бог послал раненько?

Тонкий голос звучал весело и безбоязненно.

— Бабушка, открой! Это я, Вера.

— А, Верушка! Ранняя пташка!

Мгновенно распахнулась дверь.

— А ты что, бабушка, на ключ не запираешься?

— Однако только на крючок! Однако кому я нужна, старое базло!

Вера нашарила на полу голик и им отряхивала сапожки от снега. Старушка Расстегай умильно глядела на нее. Ее круглое раскосое лицо катилось на Веру, как с тарелки печеное яблочко.

— Да хватит, хватит! Обувку не сымай! Проходи! Каво явилася? Я-то щас помолюсь — да в храм, к ранней обедне! А ты каво? Случилось чо?

— Нет, бабушка! — спохватилась. — Да, бабушка. Я... за советом. И за помощью.

— Ах ты, душечка! Да разве ж я молодым помочница! Это я тебя должна просить мне помочи! Ну ты давай... однако к столу... чайку... у меня чайник горячий... только накипятила...

Старушка Расстегай швыряла на стол, укрытый ветхой, в старых винных пятнах, скатеркой из буфета, похожего на ржавый танк, битые блюдца, шербатые чашки. Из заварочного чайника лилась, вилась темная струя. Вера понюхала чашку.

— Бабушка, у тебя, как всегда, на травах.

— Да, миленькая! Да, солнышко! А без трав-то мы куда! Да никуда! Это, однако, здоровье! А сахарок у меня скончился! Вон в чаек-то жимолось швыряй!

Перед Верой на столе, укрытом скатертью с аппликациями, стояла вазочка с темным, почти черным вареньем из жимолости. Длинные ягоды, похожие на длинный черный виноград, высовывались из густого сиропа, дразнили. Вера подцепила варенье ложкой и положила не в чай, а себе в рот.

— М-м-м-м... вкусно... сама варила, бабушка?

— Нет! Добрые люди принесли! добрые, вроде тебя!

— А я — добрая?

Вера спросила даже не ее — себя спросила.

И думала: «Добрая я или нет? Добрая или нет?»

— Ты-то? — Старушка Расстегай весело всплеснула короткими ручонками. — Еще какая добрая! Однако добрая, да! Вот мне одеяло подарила! И мне под им тепло!

Вера покосилась на топчан со свернутым в огромную колбасу стеганым одеялом.

- Я рада, бабушка, что греешься ты.
- А это чо, твое детское?
- Ну да. Меня им мамка в детстве укрывала.
- Вот-вот, а шас старенькая Расстегайка укрывается... все чин чинарем!
- Вера осмелилась. Нырять — так головою в омут.
- Бабушка. Анна Власьевна мне... — Слово искала. — Завещала... В Иерусалим сходить.
- Сходить?!
- Ну, съездить. Какая разница.
- В Ерусалим!
- Ну да.
- В Ерусалим!
- Да! Да!
- В Ерусалим!
- Да Господи, да что ж такое в этом Иерусалиме?! — тоже ошалело закричала Вера. — Вообще, что это такое?! Город?! Деревня?! Зачем Анна Власьевна меня туда перед смертью послала?!
- Вера кричала, как на пожаре. И опять она это кричала не старушке Расстегай, а будто бы самой себе. Самое себя перекричать пыталась.
- В Ерусалиме?! Да разве ты не знаешь?!
- Обе орали.
- Нет! Откуда мне знать!
- Да врешь ты все! Знаешь! Со мной играешься! С бабкой старой, постыдилась бы!
- Вера и вправду покраснела, до удушья.
- Не играюсь я с тобой! Я в газете читала, это в Израиле! Где евреи живут!
- Евреи... Да ты чо! Евреи евреями, а храм Гроба Господня там! Там! И часовня на Елеоне — там! И Гефсиманский сад там! И Иисус там последнюю муку принял! Там — Распятие воздвигли! Там! Распяли Его на кресте! Пригвоздили! И кровушка с ладоней текла! И из ног Его пробитых текла! А ты притворяешься тут мне! Эх ты!
- Старушка Расстегай рассердилась не на шутку.
- Вера верила этому гневу. Она почувствовала себя неучем и дубиной, и опять ей было стыдно, как было стыдно часто, почти всегда. Иногда она стыдилась даже того, что живет. «Вот живу на белом свете, небо копчу, а кто я такая? Ну кто, кто я такая? Зачем — я?»
- Да ты крещеная, Верушка, или некрещеная? — прекратив вопить, деловито осведомилась старушка Расстегай.
- Вера опустила голову.
- В детстве... знаешь... я спала в кроватке такой, ну, знаешь, не доска, не пружины, а внизу, под матрацем, сетка. Крупная сетка такая. Как рыболовная... но... железная. И...
- Ну, спала, спала! Все мы спим! — насмешливо склонила старушка Расстегай к плечу свою круглую яблочную головушку. — Я тебя про другое спросила, душечка!
- И я спала... а подо мной... ну, к этой сетке железной... привязан крестик был. У него такие концы, знаешь... не длинные были... а вроде как скругленные.
- Какой крестик? Почему привязан?!
- Расстегай опять сорвалась на крик. Она честно ничего не понимала. А Вера пыталась объяснить.
- По тому по самому! Я только потом догадалась, ну, когда выросла, что это мой крестильный крестик! А носить нельзя было, ну, мать к койке моей и пришпандорила! Подо мной мотался. Ну, дескать, я сплю, и крест мой меня охраняет! Поняла?!

Расстегай заткнула крошечными, как у ребенка, пальчиками уши.

— Поняла, не ори ты! Это ты меня перед обедней так вздрючила! Грех какой! И чо ты мне хочешь сказать? Крещеная ты, однако дошло до меня! — Тут Расстегай осенило. Она помрачнела вмиг, ее пальчики слепо искали чашку с горячим чаем и не могли нашарить. — А может, это чей другой крестик там у тебя мотался! Может, с ним мамке твоей кроватку продали! С рук у кого приобрела! Чай, беднячка мамка-то была твоя! Как пить дать!

— Пить дать, — растерянно и тихо, эхом, повторила Вера — и прихлебнула терпкий, пылающий огнем в шербатой чашке травный чай.

— Пей, пей! Я тут и стланик заварила, и верблюжий хвост! Пей!

— Верблюжий... хвост?..

Вера брякнула чашкой о блюдец. Чай выплеснулся на скатерть. Рядом с красным винным расплывалось коричнево-зеленое чайное пятно.

— Травка такая, дурешка... наша, саянская... Ить, никак ты не знаешь...

— А зачем ты меня спросила, крещеная я или...

— За надобой! Ить в Ерусалим побредешь! По льду, по снегу, однако... А ты знаешь каво? а вот и не знаешь! Там, рядышком, говорят... это... Мертвое море! Мыслю так, в этом море-то погибают все жуткие грешники! Немыслимо кто нагрешил на земли! И Юдушку там утопили! Посля таво, как он повесился на дереве! Правда, — Расстегай шмыгнула и отпила чай, — и другое болтают. Якобы Юдушку бросили в овраг, куда дохлую животину бросали, на съедение псам... и мухам, язви их!

— А Юдушка это кто?

Вере снова было стыдно спрашивать, но спрашивать надо было.

Расстегай взбросила крохотные детские ручонки. Ее морщинистые губы согнулись скорбной подковкой.

— Господи! Твоя святая воля! Юда, ну, Юда! Предал он Господа нашего! Ну вот же!

Расстегай будто ветром выметнуло из-за стола, она подкатилась на коротких ножках к этажерке, крашенной морилкой, подержала на руках одну тяжелую древнюю книжку, другую, помотала головой, подбежала к буфету, рванула стеклянную дверцу, нашарила среди чашек и плошек старое толстое, распухшее от тысяч листавших его пальцев Евангелие, шелестела страницами; нашла, что искала. Тыкала книжицей в нос смущенной Вере.

— Вот, вот! Юда! читай!

Вера уставилась в книгу.

— Вослух!

Вера взяла книгу из рук старушки Расстегай и начала, запинаясь, читать.

— Когда же настало утро, все перво... священники и старейшины народа... народа... имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, отвели и... предали Его... Понтию Пилату, пра... правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сере... сре-бре-ников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь... невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и... и...

— Ну чо и? Чо и? Чо замолкла?

— И... удавился.

— Видишь! Видишь, голубонька, чо происходит-то! Удавился он, пес таковский! Так ему и надо, псу! Пес — он и есь пес! Смердящий!

Вера не знала слова «смердящий», но как-то быстро догадалась, о чем оно.

— Собак не обижай, бабушка.

— Дык я и не обижаю! Это Юдушка пес!

— А зачем же ты его так ласково называешь, Юдушка, если он такая сволочь?

Старушке Расстегай нечего было ответить на эту правду. А может, просто расхотелось говорить. Обе прихлебывали чай с верблюжьим хвостом молча, сосредоточенно, и в воздухе раздавались чмоканья и нежное дутье на горячие чашки. Но остывал чай, и стыло, как на морозе, черно-синее варенье с друзьями крупных длинных таежных ягод; и стыло время под грудиной, под ребрами. <...>

* * *

<...> Тьма мотается и вспыхивает под веками алым, желтым. Фонари за окном. Станция. Штор тут нет, есть только страшные кожаные шоры, их надо опустить на глаза лошадиного поезда, тогда он поскачет быстрее и не будет пугаться фонарных огней. Глаза приоткрываются. Открываются, две шкатулки со слезами. Распахиваются настезь, до отказа. Огни спят, мелькают за окном. Состав тормозит, железные кости перестукивают, гремят. Стоп машина. Застыли вагоны. Зычный голос с перрона: стоянка пятнадцать минут! Что можно успеть за пятнадцать минут? Купить пирожок с ливером? Судорожно съесть на морозе? Запить нечем. Надо заказать у малявки чай или кофе. Тьма, я забыла взять с собою в путь воду в бутылке! Простую воду. Енисейскую, ледяную.

Лежи уже, дура. Не шевелись. Поезд стоит и пойдет. Побегит дальше. Ты закроешь глаза опять. Под черными веками поплывут изгибистые красные письма. Золотые знаки. Ты будешь пытаться их прочесть. Напрасно! Ты же не знаешь, кто их начертал. Тебе их показывают; зачем? Зря или не зря? Все зря. Нежная музыка звучит внутри тебя, это песня дороги. Ты трясешься в вагоне, лежа на верхней боковой, укрытая жестким тонким одеялом, и поешь по слогам, по кривым, изогнутым красным нотам песню своего пути. Когда-то письма оборвутся. И не прочтешь ни одной ноты. И не споешь больше ничего, так пой же сейчас!

Вера сама не замечала, как рот ее дрожит, а глотка выпевает смутные, нежные, хриплые звуки. Ее бессловесной песни не слышали попутчики: напротив нее, в плацкартном закутке, три мужика в солдатских гимнастерках резались в карты, на верхней полке скрючилась молоденькая девчонка: ее плечи и выгнутая колесом спина тряслись от рыданий, в такт вагонной тряске. Внизу, под Верой, бритый человек с колючим взором, зрачки как два острия вязальных спиц, добывал из котомки такое же лысое, как он сам, яйцо, вертел на столе, восхищенно шептал: «Крутое яичко, крутое! Как пить дать, не наврать, мать-перемать, крутое!» Людям не было дела до Веры. А Вере, вышло так, не было дела до людей. Люди сами по себе, Вера сама по себе. Никто ей не нужен. И она никому не нужна.

Так спокойнее.

* * *

Вера захотела по нужде и спустила ноги с полки. Ей было боязно прыгать вниз. Бритый дядька готовно подставил грубые заскорузлые руки. Он принял на них беспомощно падающую сверху Веру, как акушер младенца.

— Хо-хошечки, — воскликнул он довольно, — бабеночка! Держись на ножках, а то повалят!

Вера не хотела, а покраснела. Уселась за гладкий, поддельного мрамора, дорожный стол.

— А вы так и не спали? — спросила.

Бритый подмигнул.

— А с кем тут поспать? И поспать-то тут не с кем, жаль такая. Вот разве что с тобой!

Вера на удивление легко подхватила игру.

— Со мной не выйдет. Я колючая. Обранишься весь!

Встала, ушла, опять пришла. Села. Бросила руки, как вещи, на стол.

Бритый осторожно, на диво нежно коснулся шершавым пальцем Вериней руки, мертво лежащей на гладкости стола. Ее дернуло живым током. Она убрала руку.

— Врешь все, — тихо и хрипло бросил бритый. — Теплая ты и слабая. Только прикидываешься сильной. Как вы все, бабы.

Вера под столом гневно стиснула руку в кулак.

Хотела ответить. В затылок забил колокол: не трудись, не трудись. Все напрасно, никому ничего не докажешь. И не покажешь. В животе перекатывалась булыжниками тяжелая пустота, Вера не взяла с собой еды, а купить боялась: в поезде дорого, а выскочить на перрон — состав улепетнет, и поминай как звали.

— Жрать, бабенка, хошь? Только не ври!

— Хочу, — грустно сказала Вера.

Бритый шмякнул котому об стол. Развязал тесемки. Копченая колбаса. Куриные ноги торчат из фольги. Соленые помидоры в оббитой банке. Катал на ладони яйцо и хитро шурился на Веру.

— Что зыришь? Яички, да, яички! От самолучших курочек!

Протянул на ладони яйцо Вере.

— Ну? Что морду воротишь? Знаешь, где такие курки-яйки водятся? Хох-хо! На Ангаре, на Ангаре! А я-то оттудова домой еду, на Урал! В родные, эти, шпинаты! Отслужил как надо и вернусь!

Вера осторожно, как змею, взяла с ладони у бритого вареное яйцо.

— А вы... из армии... домой?

— Со щетиною седой?! — Бритый пощипал себя за скулу. — По возрасту не гош! А на солдатику похож! Нет, бабенка, не угадала! Я — из санатория!

— Из... санатория?..

Вера поздно, но сообразила. Густая краска залила ее лицо, губы сжались в злую и смущенную нитку.

— Да, лепилы надо мной потрудились! Поизмывались всласть! Да ты чисть, чисть яичко-то! Или руки-крюки?

Выхватил из Вериних рук яйцо, ловко очистил и, голое, опять ей на ладони преподнес. Как ребенку; как царице.

И она взяла и ела.

И откусывала медленно, мелко, и жевала трудно, смущенно, не сводя с бритого дядьки глаз; и так сидели, и ели они, и пили в тряском поезде — одинокая баба в белом, с красными розанами, платке с белыми длинными, как метель, кистями, и выпущенный на волю заключенный, перед глазами его еще моталась колючая проволока, колючие ветви железных пихт и елей; и поезд мотался, как пьяный, звенел на стыках колесами, чугунными погремешками, внезапно застывал, а потом опять срывался с места и мчал вперед, как бешеный, хотел догнать недостижимое, ускользающее время, настигнуть его и убить, как охотник зверя, а время, смеясь, хохоча во все зубы, железно и скользко все убегало вдаль, бежало, исчезало, показывая на миг снежное жало и тут же пряча его, манило, летело, ничего от людей не хотело, а люди все гнались за ним, пытались его изловить, и связать, и покорить, и разделать, разрезать на куски, для всех голодных, его мощную слепую тушу, а оно все бежало, перебирало железными ногами, махало железными гигантскими крыльями, разевало железный клюв и издавало безумный клекот, — и страшно было человеку бежать за ним, а он все бежал, и тянул к времени рельсы, и запускал над ним самолеты, и взрывал перед ним бомбы и снаря-

ды, а время все летело, ширия крылья, поверх всего человеческого, и непонятно было человеку, Ангела это крыла или диавола: не видел он того, не понимал, не хотел, хватая ртом ледяной последний воздух, понимать. <...>

* * *

Пока ехали до Челябинска, день, ночь и еще полдня, незаметно и страшно сдружились. Веру бритый узник, отпущенный на свободу, обаял и закружил — за ней никто и никогда так не ухаживал, не кормил ее не поил, не шутил ей и не пел ей, выбрасывая из хриплого горла путанные, через пень-колоду, как под хмельком, частушки, блатные песенки, прибаутки, — дядька соскучился по вниманию бабенки, а Вера смотрела в его щербатый рот, как в дырку скворечни — о, вот сейчас вылетит синяя, нежная птица сойка, наш северный павлин! А может, говорящий попугай! Зеленый волнистый озорник, и затрещит клювом! Проводница-малявка сердито косилась в их сторону, когда шла с веником подметать вагонный пол: старая кокетка и гололобый тюремный донжуан, ишь, нашли-таки друг дружку! Вера не сводила с бритого глаз. Она уже слушала его как учителя. Принимала на веру все, что он залиvistо брехал.

— А тут-то, ты вообрази, Верушка... — Он произносил «Верушка» как «ватрушка». — Ты только представь!.. иду и вдруг проваливаюсь, натурально, в яму! Волчья яма, отменно вырыта. Глубко! И вот сижу на дне. Весь в грязи изгвазданный. Грязи нагло тался, пока туда валился. В бога-душеньку! Я настила под ногой не увидал. Лапник настелили, поганцы. Да еще какой густой! Как у Ленина, блин, в мавзолее. Будто гроб, ямину елью застлали! И вот я... матерюсь нещадно! А что прикажешь делать? Орать? Ну, подойдет вохра, винтовку к плечу вскинет и в расход. А что со мной церемониться, хо-хошечки! Я ж в ямине! Я же волк! Волк... Мозгами, волк, ворочаю... И придумал. Услышу голосок поюнее, подзову! Полезет несмышлениш спасать — я его вниз утяну!

Умолкал. Хитро на Веру глядел.

Она содрогалась спиной. Знала, что сейчас услышит.

— И... что?

— И то! Свист услышал! Завопил! Мальчонка подбежал! Сын нашей кухарки. Он мамке резать хлеб пособлял. Годов десяти пацан. Я ему: ветку хватай, мне сюда опускай, тяни, я покарабкаюсь! Пацан, дурень, лапник вниз спустил, я его на себя рванул, он в яму так и покотился! Я ржу-хохочу! Покатушечки! Он плачет! Ревет взахлеб! Трясется! Я его — крепко держу! Хотя бежать ему, бабенка ты дура, некуда!

— И что... ты с ним... сделал?..

— Как что?! Убил и схрустел, конечно!

Вера мотала головой.

Пыталась смеяться.

— Я тебе... не верю...

— Не верь! Не верь! Эх... ну не сожрал, нет, нетушки, хватит дрожмя дрожать. Я орал как резаный, народ подзывал, а пацан у меня вроде как в заложниках там валялся. Я ему ноги ремнем связал! Руки — рукавом рубахи, отодрал, в жгут сплел! Он меня костерит! Я — его! Так ругаемся! Ночью холод зверский, звездочки блещут! Жрать и правда охота! Думаю, и правда хороший поросенок, да только огонь в ямине не развести! А то бы сожрал, вот ей-богу! День займется — я опять ну орать! И приперлись... эти. Вытащили нас... обоих... мы уж отошлели совсем... с ног валились... пацаненок концы отдавал... уволокли его... в лазарет, так думаю... а в меня полстакана водки влили, я разум утерять... очухался — на койке лежу, и укол ставят... А до конца срока знаешь, сколько мне было?.. не знаешь. И не надо тебе знать! Верушка, ты глупая как пробка!

Он так ласково вылеплял это губами, что Вера вся покрывалась стыдным потом.

Когда поезд докатил до Челябинска, бритый помог Вере надеть на спину ранец и подал ей руку, когда они выходили из вагона.

* * *

Зимний Челябинск мало чем отличался от зимнего Красноярска. Пожалуй, дымящих заводских труб было больше и дышать было тяжелее. Они с бритым дядькой брели сквозь город медленно и тяжело, будто слоны, нагружены поклажей, и Вере ее школьный ранец казался неподъемным кованым сундуком. Быстро смеркалось, зажигались витрины магазинов, продуктовых лавок, универмагов, ресторанов, кафе, кинотеатров, близ театральных подъездов загорались торжественные старинные фонари, и все сильнее и острее пахло бензином, из приоткрытых дверей харчевен тянуло вкуснейшими яствами: жареной курицей, а может, тушенными в сметане грибами, а может, просто капустой в томатном соусе, с мелко накрошенным чесноком, с молотым красным и белым перцами. Вера нюхала вечерний зазывный воздух, и все труднее становилось его, плотный, вязкий и дымный, вдохнуть глубоко. Ловила воздух ртом, как рыба. Бритый покосился на нее. «У нас тут с непривычки все так вот дышат, как ты теперь. Ртом, и зенки выкатывают. Ничего, привыкнешь!» Вера робко улыбнулась ему. Все больше робела она, все бесповоротней превращалась в забытую дуру школьницу с ненужным ранцем за худыми плечами, за тощей хордой звенящего позвоночника.

Она сама не поняла, как так вышло, что она оказалась не дома у своих родичей, а в домишке у бритого: этаж под крышей, коммунальная кухня, бабки варят в кастрюльках нищую еду, чад и грохот, и бритый открыл дверь свою не ключом, а ногой, на кровати спали мальчишка с девчонкой, до затылка закутавшись в клетчатый дырявый плед; бритый сбросил на пол сначала юнца, потом девчонку, они по-кошачьи уползли на животах, на локтях за приоткрытую дверь. Бритый цапнул со стола початую пачку сигарет, закурил, подошел к окну и вытолкнул наружу створку фортки. Снег, вихрь, забытым безумием полетел в чадную комнату.

— Рассупонивайся, лошадка, — хриплый голос бритого опять мазнул по Вере забытым детским весельем. — Станция Березай, кому надо, вылезай. Прибыли.

Вера так и стояла, ранец не снимала, ремни давили на плечи, обрывками мыслей она пыталась поймать летающую над головой опасность. Опасность тихо села ей на лоб и касалась кожи нежными крыльями.

Бритый затянулся, вынул сигарету изо рта, держал двумя скрюченными пальцами на отлете, медленно подошел к Вере.

— Ну что? — тихо спросил. — Мужика, что ль, никогда не видала, старая ты уже баба? Что зыришь? Если не нравлюсь, пнула бы давно, еще в вагоне. А то за мной потащилась, с нашим удовольствием. Спать с тобой буду. А как же. Мужика с бабой да не поспать. Чай, не нехристи мы! Все у нас, как у людей, устроено!

Махнул рукой, как медведь лапой, вниз.

— У нас все спереди!

Он медленно снял с нее детский ранец. Размотал платок с кистями и бросил в угол. Все больше девчонкой чуяла себя она. Речь потеряла, не нужна была речь. Села на койку, бритый присел на корточки и медленно стащил с Веры сапоги — один сапожок, второй. Стянул грубовязанные носки. Она медленно пошевелила застывшими пальцами.

Бритый погладил ее щиколотки в толстых коричневых чулках.

— Что ж ты, блин, моя лучинка, неясно горишь, — вышептал, как спел. — Что тебе надо-то в жизни?.. не пойму. Куда-то в путь пустилась. К родне какой-то непонятной,

мать твою. Или еще куда? А не открываешь куда. Молчишь! Падла! — Он сказал «падла» как «красавица моя». — И, главное, зачем. Не жилось тебе в Красноярске твоём? А? Вот со мной связалась. Зачем? Да, зачем? Затем, что ли, что я человек? Да? Человек я? Человек?! А может, я зверь?!

Вера молчала. Ноги ее холодели.

На лбу бритого, под отросшей за время пути седой щетиной, блестели капли пота, как мелкая чешуя детишек-карасей.

— Может, и зверь, — сам себе ответил и для верности даже сам себе кивнул. — Кто меня знает. Меня тут ведь уже забыли. Туда мне и дорога. А знаешь, за что сидел? Долго сидел. Угадай с трех раз. Угадаешь — конфетку дам. Живую, ха! Сладенькую, хо-хо! Не угадаешь...

— Нож под ребро? — тихо спросила Вера.

Хотелось шутливо, а вышло страшно.

Бритый зашелся в беззвучном смехе. Вытирал смешные слезы. Царапал наждаком ладоней щеки. Вера тоже заплакала. Он и ей щеки грязными ладонями вытер.

— Бабенка! Драная юбчонка! Парня я пришил. За дело. Ножонки-то задрогли. Щас согреешься!

Он встал с корточек, подхватил из-за стола стул легко, как щепку, подошел к двери и воткнул ножку стула в старинную, выгнутую стеблем озерной лилии медную дверную ручку.

* * *

<...> Он зорко следил, чтобы Вера не убежала. Ему было с ней удобно, в самый раз. Вера и сама притерпелась. Уже стала забывать про Иерусалим. Он торчал внутри, в потрохах, невынутой занозой. Однажды Бритый закатил пирушку. Выгнал Веру на кухню, стряпать. Она приготовила солянку, холодец, жареную курицу с чесноком. В комнату, за круглый старый стол, набилась куча людей. Люди, люди! Гомонили, пели, пили, плевались, ругались скверно и страшно и страшно плакали, утыкаясь лбами в жесткие плечи друг друга. Баб не было ни одной. Все сильнее пахло мужиками. Вера разрезала дрожащий, как жирная бабья ляжка, холодец острой финкой. Подцепляла вилкой и швыряла на битые тарелки. Губы ее, как обычно, были в нитку сжаты. Бритый забросил в рот кусок холодца, жевал и долго смотрел на Веру. На нее ли?

...Иерусалим, я забыла, что это, хрустальный дом, а может, дом на слом... Ие-ру-са-лим... сизый дым, дым...

Дверь приоткрылась. Вполз холодок. Вползла в щель нога-змея. В черной потертой туфельке, остроносой. За ногой вдвинулось в прогал бедро, черная юбка качнулась. Шаг внес в комнату тело. Бритый ловил глазами глаза вошедшей. Слишком бело, снежно мерцало ее лицо. Обычно щеки румянят. Эта — набелила. Или отморозила? Лицо повернулось вбок, Бритый глядел на него в профиль. Потом опять маска уставилась прямо в комнату: широко стоящие глаза новой бабы глядели на старый, половинкой шелкового лимона, абажур и не видели света.

Бритый чуть не присвистнул. Баба как две капли воды была похожа на Веру.

Он не знал, что за баба. Гости пригласили? Чья-то шмара? Не все ли равно. Он сделал жест: давай, не стой в дверях, шагай! Вилка из его кулака упала на стол. Тарелка зазвенела и треснула. Вера сидела прямо, не оборачиваясь. Будто боялась обернуться. Бритый чуть не крикнул ей: «Не вертись! Не смотри!»

Потер переносицу кулаком. Помял пальцами глаза. Баба в черном, копия Веры, не исчезала. Только тихо, медленно попятилась в коридорную тьму.

В стену застучали. Шумную компанию к порядку призывали.

— Что копытом колотите! — вскричал Бритый. Глаза его тонули в раскрытой черной дверной щели. Пьяный озноб танцевал по спине. — Спать им хочется, охо-хошечки!

Вера, твердо, железно глядя перед собой, на скатерть, где валялась вилка и лежал отбитый зуб фаянса, поднялась, глаз от яств, посуды и скатерти не отрывая. Уцепилась за спинку колченогого стула, будто падать собралась. Медленно развернулась живой баржей и выплыла вон из дымной бешеной комнаты. Лимонный абажур качнулся. Бритый сунулся вперед, хотел Веру остановить, но будто споткнулся и упал грудью на стол, подбородком в крупно, грубо накрошенный салат.

* * *

Вера сама не знала, зачем вышла. В голову ей вступила лютая боль, заплесала под черепом, торжествуя и бесясь впотьмах в просторном костяном зале — без мыслей, без огней. Она прошла по половицам и встала, как на льду, как на краю. Черная река ее сна неслась под ней, под ногами, мимо.

— Не пей больше, Верка... козленочком станешь...

Кто шепнул это? Она или кто другой?

Озиралась. Глаза еще не привыкли к темноте.

Вера, подняв руки ладонями вперед, сделала шаг, другой. Зеркало в коридоре? Спасибо соседям, что повесили.

Она стояла и смотрела на себя в зеркало. Только почему она в черном? Кто пошил ей этот ночной наряд? Погребальный, одно слово. Вера передернула плечами и пощипала себе плечи, обласкала ладонями рукава. В зеркале она не сделала этого. Просто стояла, и все. И смотрела сама на себя. Мимо них обеих, между их лиц вился белый дым. Вера будто ногами в снегу стояла. Только снег мерцал не белым, а черным. Как антрацит.

— Не пей... Верка...

Губы шевелились, а в зеркале ее губы молчали, стиснутые крепко.

Она выше подняла обе руки и прижала ладони к своему отражению. Живое тепло под ее руками сказало ей, что это зеркало повесили не соседи. Она оторвала руки. Будто пальцы стали — корни, и она вырвала их из теплой земли.

— Ты... кто такая?

Зеркало улыбнулось. Вера отразила ее улыбку.

Губы ее свела легкая, дикая судорога.

— А тебе какое дело?

— Никакое.

Вера шагнула назад.

«Бежать, и все!»

— Скрыться хочешь? А зачем?

— А зачем?

— Обезьяна!

— Это ты обезьяна!

Они препирались, будто торговались на рынке.

— Что ты повторяешь за мной! За собой повторяй!

Вера сжала кулаки.

— Слушайте, — она перешла на ненужное «вы», — дуйте отсюда.

— Зачем?

— Затем!

— Я в гости пришла!

Бросали слова резко, отчетливо, тихо. Чтобы никто не услышал.

Вера взялась обеими руками за голову. Наклонила лицо, мрачно глядела в пол. Ничего не видела. Тьма и мусор, окурки шуршат под ногами. Рыбьи кости под подошвой хрустят.

— Ну и гостюй, гостья!

— Ты тут тоже гостья.

— Откуда знаешь?

— От верблюда! Уходи лучше ты!

— А не то?

Зеркало качнулось в сторону и начало падать. Вера рванулась было поддержать его, чтобы не разбилось на тысячу кусков. Не успела. Женщина выскользнула из-под ее рук, из-под жизни ее, как резкий зимний ветер. Вере почудилось дальнейшее пение сойки. Потом говорящий попугай провизжал: «Война! Война! Спасайся!» Раздался звон: это в приоткрытую дверь выбросили выпитую рюмку, и она нежно и отчаянно разбилась о кирпичную кладку старой стены, устлая половицу под Вериними ногами осколками детского льда.

* * *

— Я хочу уехать.

— Много хочешь, мало получишь!

Бритый показал Вере кукиш. Она с кукишем молча согласилась. «Значит, надо еще ждать», — сказала она себе. Ждала. Ее отражение больше не появлялось перед ней. Она поняла так: пить надо понемногу, а лучше вообще не пить, по-церковному это грех. Она вспомнила о том, что у нее в ранце, на самом дне, лежит таинственная книжка Евангелие, подаренное ей старушкой Расстегай. Она робела вынимать его перед Бритым, тем более читать из него. Да и шрифт она этот, старинный, с завитками, титлами, ятями и еще невесть какими хитрыми буквицами не очень-то разбирала; шрифт этот был ей как шифр, кто-то был на земле посвящен в него, она же нет, хотя слова навстречу ей попадались русские и очень даже знакомые. Например, «блажени». «Это ведь блаженные!» — радостно догадывалась она. Или, к примеру, «юность твоя». Юность — она и есть юность! Твоя, моя! Что тогда, что теперь! А тогда — это когда? Сто лет назад, тысячу?

И все же настал день, когда Вера, чуть Бритый исчез за дверью, быстро, будто мышь из мышеловки вынимала, вытащила Евангелие из ранца. Открыла, уставилась в исчерченные загадочными письменами ветхие листы. Пахло воском и церковью. Она подносила книгу к носу, нюхала. Вспомнила, как старушка Расстегай книгу целовала. Как икону! Запах превращал время в прах. Отовсюду: с потолка, из окна, с небес — лился мед, мерцало, вспыхивая на губах, вино, рассыпалась радужная пчелиная перга. Слова обдавали сладостью ноздри и язык, и першило в горле. Вера читала быстрым шепотом:

— Блажени нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю... Блажени алчущии и жаждущии правды... яко тии насытятся!..

Насытятся... Она вспомнила, как жрут и пьют за столом друзья Бритого, уральские бандиты. Зачем она здесь? Ей жалко Бритого. Да, жалко! У него нет жены. Она хоть немного побыла ему женой. Да ей надо в дорогу. Алкать и жаждать правды? Зачем Бритому и его корешам правда? Они и без правды отлично проживут! Ограбят, убьют! И никаких вопросов! Душу ничто не мучает. Или мучает? Терзает?

— Блажени милостивии, яко тии помиловани будут... Блажени чистии сердцем... сердцем... яко тии Бога узрят. Блажени ми-ро-творцы, яко тии сынове Божии нарекутся. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.

Дальше пошло труднее. Слова слипались в единый ком, катились мимо глаз, лишь маня яркими вспышками, и укатывались в неизбежность, в бессловесную тайну.

— Блажени есте, егда поносят вам, и иж... иж-де-нут, и рекут всяк зол глагол на вы лжу-ще, мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко... яко... мзда ваша многа на... небесах?.. не-бе-сех...

Дверь стукнула, распахнулась во всю ширь, и вошел, колотя об пол сапогами, Бритый.

Вера вздрогнула и сделала движение — спрятать Евангелие под юбку, под колено; не успела. Бритый шагнул и выхватил книгу у нее из рук.

— Ух ты, ах ты, с бухты-барухты! — прохрипел он. От него пахло сивухой. — Книжечка церковная, буковки любовные! Загнать ее старьевщику — дорого даст! И еще кусок жизнешки проживем. А толку что старье мусолить! — Затолкал Евангелие за пазуху. — Мое будет теперь! Откуда у тебя, Верка ты, фанерка? Соседки подарили? Чтоб за меня молилась, за грешки мои, так?!

Похлопал книжку по торчащей из куртки кожаной корке.

— Дорого дадут. Не сомневайся! Я недавно одного художника обчистил, много всего потырил у него: и камеру старинную, и кольцо с сапфиром... а может, пес его знает, с лазуритом... и иконку этой, как ее, Богородицы, и чайник золотой, и чайничек серебряный... ты, начальник, ключик-чайничек, отпусти на волю!.. И, главное, книжищу, книжищу такую, не приподнять кирпич, толстенную, все вот такими же ятями... ять, мять, начирикано... Подлатался, мать! И жили мы, не тужили! Ты-то, шушара, как будто не догадываешься, на какие шиши лямку тянем!

— Догадываюсь, — ровным голосом сказала Вера. И вдруг сделала радостное, восторженно-детское личико. — Дай книжку обратно! Ну дай, дай!

И протянула руку к ней, высунувшей кожаную старую, исцарапанную щеку из-под бандитской куртки.

Бритый попятился.

— Эге-гей, вор-воробей! Деньги не клюй, получишь плюй!

Положил ладонь на Евангелие.

— Отдай!

— Хренушки! Я его хорошо загоню! Знатно! Какой тут год издания? А шут с ним! Сразу видать, что старье! У старьевщиков чем старше, тем моднее; они знаешь, что покупают-продают?! Время! Время у них ценится. Не вещь, запомни, фефела! Время! А время что, пощупать-понюхать можно? Да ни шиша подобного! Время, ты вот объясни, никто не объяснит, что оно такое, откуда оно...

Ушел и хлопнул дверью.

* * *

Ночью, когда Бритый, натешившись ею, сладко захрапел, Вера выпросталась из-под него, оделась быстро, быстрее солдата по тревоге в казарме, обвязала голову белым платком с розами и метельными кистями, ранец на спину взгромоздила уже в коридоре. Глаза ее шарили по темным непроглядным стенам — она искала то, живое зеркало. Зеркала не было больше. Его разбили. Разбило время. Или память. Обезьяну застрелили. На мясо пустили, а из шерсти ее связали кому-то жалкому, бездомному теплые носки.

Тут вдруг стукнуло ей сердце изнутри в ее железные ребра. Она подошла к вешалке в коридоре. Высоко над головой торчали серебряные крючки. Тихо спали, висели без шелеста и шороха казенные временем старые плащи и грязные куртки вечно пьяных соседей. На одном крючке висела куртка Бритого. Вера ощупала ее, как чело-века. Нашупала твердое. За пазухой, под рваной подкладкой, лежало и спало Еванге-лие старушки Расстегай. Вера вытащила его и, дрожа, засунула в ранец, утолкала на самое дно.

Вера сбегала по лестнице, и ей чудилось: за ней бежит Бритый, орет: «Стой! Заре-жу! Хо-хошечки!» — и она бежала еще быстрее, ноги мелькали, как спицы в колесе, на крыльце она все-таки споткнулась и растянулась ничком, во весь рост, и разбила ску-лу об острый каменный край ступени, и набирала в ладонь снега и прислоняла к раз-битой щеке звонкий, звериный холод, ладонь пачкалась кровью, Вера зло смеялась и, волоча ушибленную ногу, шла вперед по ночным улицам, ранец за спиной, упрямо шла, обреченно, вольно. <...>

* * *

<...> Она шла по Москве и искала в ней ту вечную Москву, о которой она в книж-ках читала, будто в сказках, и которую воображала себе часто и радостно, как летом — новогоднюю елку: вот кремлевские башни и алые на них звезды, вот танки на пара-де, вот полосатые, дынные и яблочные купола знаменитых пряничных церквей, — где все это, родное до слез? Небоскребы, блеск стекла и металла, до рези в глазах, дымная гарь, грохот колес и крики гудков заслоняли живой яркий цвет и живой дальний ко-локол. Тихо, шептала она себе, тихо! Не возмущайся! Это же она, твоя Москва! Твоя любимая столица! Спасибо Иерусалиму, а то так бы и прожила в Сибири и Москвы бы не увидела, не пошагала вдоль по ней, по родимой! Глаза против воли все запоми-нали. Зачем человеку память? К чему помнить все? В гроб с собой не возьмешь, повто-ряла она изогнутыми насмешливо тонкими губами ворчливую Лизину присловицу.

На Красную площадь Вера все-таки выбрела. То в метро, то в троллейбусе, то пеш-ком, — ей казалось, она движется ползком, — то и дело выпрашивая у прохожих до-рогу, нарываясь на иноземцев, они беспомощно растопыривали пальцы и лопотали по-ихнему, Вера извиняюще улыбалась, она ни одного чужого языка не знала, и это тоже бросало ее в краску, топило в глубоком стыде: вот мы неграмотные какие! а про-стые! а сибиряки такие вот, лапотные! Она словно бы попала из незапамятного време-ни, а чуть ли не из-за тюремной колючки, в новый мир, в странный, резкий его свет и гром, — у нее было чувство, что ее выбросили в пустое открытое небо, в черный, всеми звездами сверкающий ночной оком, и все взблескивает вокруг, светится и ру-шится в бездну, а ей надо пройти над бездной по самому краю жизни, по ее узкой, как ладонь или ступня, дрожащей кромке.

...скажите мне имя времени! Оно — мое. Крепче кремня, нежней, чем белье!

...прозрачней и призрачней, чем свадебная фата...

...страшней, чем на тризне... в крови его пята...

Многоглавая мощная церковь ударила ее по глазам ярким бешенством, безумием куполов: желтый! звездный! алый! в колючих гранях, будто самоцветная друза! поло-сатый, как матрац! золотой, тяжкий сгусток счастья, хоть лизни золотой сахар, да не отравись только, закрой глаза, застынь, слушай! Как раз зазвонили с колокольни. Вера стояла и слушала звон, будто всю жизнь была глухая и вот услышала мир. «Как чу-до», — подумала она с легкой улыбкой — над собой, над миром, что вот внезапно взял да подарил ей столицу, и она невольно сравнивала ее с Сибирью, и выходило так, что

все равно Сибирь сильнее, мощнее, грандиознее. «Наша Сибирь — главное чудо», — думала Вера, задирая голову и восторженно, как дитя, разглядывая яркие сумасшедшие купола Василия Блаженного. Стекло и сталь за спиной померкли. Новизна сдохла, рухнула и разбилась: умерла. Вечность моталась перед Верой в небе, синем уже по-летнему, в виде этих разноцветных круглых разбойничьих голов в расписных роскошных тюрбанах. Вечная Русь принесла ей на голубиных крыльях большую радость, и Вера не знала, куда ей эту радость спрятать: за пазуху ли, в ранец за спиной.

Ни на какую гостиницу денег у нее, конечно, не было. Лизины дареные купюры из ее кошелька исчезали так же быстро и внезапно, как и появились. Она старалась их сберечь, и тем быстрее и насмешливей они, разменные, утекали. Столько поджидало в Москве соблазнов! Как это вкусно, и это, и еще это, а голод не тетка! А это, разве можно такое пропустить, не посмотреть! Вера забредала в зоопарк, в планетарий, дивилась на ночное искусственное, под куполом, небо, полное звезд, и планеты по нему катились, и Юпитер с Красным Пятном, и круг лунного сыра, и Сатурн с кольцами, подобный детской юле; даже на концерт звезды, модной певицы, однажды попала — так долго перед ней трясли билетом и так красиво, медово светились из вечернего мрака толстые, в три обхвата, колонны громадного театра, что Вера не устояла, махнула рукой и вынула деньги из потощавшего гомонка. Певица пела так красиво! Слишком красиво; Вера даже подумала: она не живая женщина, а красивая кукла, и внутри нее завели голосовой автомат, и он выпускает на волю, в публику, красивые соловьиные рулады. Певице громко хлопали, хлопала и Вера. Она хотела вместе с другими людьми увидеть еще раз, хоть на миг, красивую певицу; толкалась около тяжелого занавеса в потной нарядной толпе, протягивала руки, кричала вместе со всеми: «Бис!» В гардеробе, когда она брала свою одежду, она поймала ненавидящий взгляд гардеробщицы: Вера ничего за услугу не дала ей, никакой денежки, не вынула из кармана. Ночевала на Казанском вокзале: быстро и сурово сдружилась с дежурной из Сибири, и та милости ради, без всякой оплаты, пускала Веру в зал ожидания, где можно было угнездиться в железном неудобном кресле и сиротски дремать в тепле.

Ночью, на вокзале, она просыпалась, будто кто ее в бок толкал. Вытаскивала из ранца Евангелие. Нырjala в него, и страницы, как чьи-то живые ладони, грели ей холодные руки.

<...>

* * *

Она пришла в себя в больничной палате, где беззвучно сновали медсестры, беззвучно и осторожно клали на тумбочки ампулы и шприцы и молча, хмуро ощупывали и осматривали лежащих на койках людей строгие врачи. Тишина царил тут и торжествовала. Тишину никто не смел нарушить. Когда больной стонал или, еще хуже, кричал, тут же подбегали люди в белом, делали ему быстрый укол, всовывали пилюлю под язык. И человек утихал.

Вера старалась не кричать, не стонать. Сильно болела голова. Стены палаты были выкрашены масляной краской в белый цвет, и ей казалось, она лежит засохшей бабочкой в бумажной коробке. Ее спросили тихо: где ваш полис? Она так же тихо ответила: в ранце. Потом спросила еще тише: а где мой ранец? Открыли тумбочку и показали ей ранец. Вера закрыла глаза. Из-под ее век на подушку медленно текли слезы. Она оплакивала погибших. А еще плакала перед будущим — она уже не знала его.

Когда худенькая медсестричка с ярко накрашенным ртом пришла делать ей очередной укол, Вера тихо спросила ее:

— Скажите, что это было такое?

Медсестричка вытащила иглу из Вериной кожи, поправила белую шапочку и пожала плечами:

— А вы разве не знаете? Один безумец перестрелял народ. Кучу народу! Дрянь такая! Точное число жертв неизвестно! Мертвых много. Разные цифры называют! А живые вот в больницах валяются, в разных. Вот у нас, все палаты забиты, к нам много привезли, мы рядом с бульваром, нам и карты в руки! Многих мы спасли! Вот вас!

— А я разве раненая?

Вера выпростала из-под одеяла руки и изумленно ошупала себя: плечи, шею, подбородок, грудь.

— У вас сотрясение и ушиб мозга, — веско сказала медсестричка, изо всех сил пытаясь поменять воробьиный голосок на важный и знающий, врачебный. — Контузия. Ну, как на войне, знаете? Но сейчас опасности нет! С вами все будет хорошо!

Вера повернула голову на подушке.

Она не хотела, чтобы птичка-сестричка видела ее слезы.

Слезы текли восторженно, отчаянно, обильно, — непонятно. Внутри Веры будто переключили запретный слезный тумблер. Она лила слезы, задыхалась, звала ночами мать, звала шепотом умершую Анну Власьевну, но больше всего, чаще всего она звала к себе Бога. Его имя всплывало на ее губах само собой. Как песня. И нечего уже было Его стыдиться. Она сама себе была церковь, в этой сверкающей чистым льдом кафеля белой палате, среди этих молчаливых, со снадобьями в ладонях, одетых в белые одежды людей, спешащих к тем, кто должен был умереть: продлить, хоть ненадолго, им единственную жизнь.

Она стала понимать, что такое жизнь. Жизнь была, оказывается, постоянным прощанием с жизнью. Она сама с собой все время прощалась, и троекратно целовалась, и махала рукой, и уходила, и вставала на подножку вагона, и все никак не могла уехать, бросить влюбленных в нее, жалких людей. Жизнь каждый день прощалась и с Верой, она поняла это, и все не могла Веру отпустить, а может, просто жизнь знала, что ей еще рано покидать Веру, такую хорошую, такую смирную и верную, — молчаливую, выносливую.

...вынести, вот это и это... и еще... и всегда и везде...

...не ослепнуть от света. Не утонуть в воде.

...на койке выгибаться... в любви столбняке...

...помогите, братцы... а надо прощаться... чтобы рука в руке...

Вера понимала: вот в нее стреляли и чуть не расстреляли, и она осталась жить, и это означает, что к жизни надо, надо еще тянуть руки, надо крепко обнимать ее и шептать ей на ухо простые и добрые слова. А рядом не было никого, кроме Бога. Вера, лежа на больничной койке и глядя долгими ночами в потолок, видела Его. Переводила глаза на окно. Крестовидная рама чернела на фоне светлого неба. Забыли задернуть шторы: полночный свет наполнял палату белым молоком. Луна лила этот свет, и Луна была настоящая, а все больные тут — потусторонние, и Вера тоже. Она глядела на этот тихий, нежный свет, как из могильной ямы. Черный крест обнимал чугунными руками нежное молочное серебро. Ночь текла и плакала. Луна сияла. Черный крест ее сторожил. Мрачно и бессонно.

Внезапно Вера стала арфой и зазвучала. Ее волосы обратились в струны, тело, изгибаясь, дрожало и отзывалось огненным биением. Так, музыкой, билось ее сердце.

На фоне светящегося окна сидел человек. Она еле видела его. Сидел, закрыв глаза. Длинные спутанные волосы текли с темени на лоб, виски, на плечи. Сгорбился. Голый: голый торс, голые ноги. Белой простыней обмотан живот. Худой. Щеки ввалились. Будто деревянный. Не шевелился. Пальцы сцеплены на коленях. Сидит, молчит. Слушает, как бьется его сердце. Одинокое.

Музыка, музыка, далеко, на том свете, бьют в барабан.

Люди бьют человека, привязанного к столбу, плетями. Слышен хлесткий стук ударов.

Полосы крови по телу. По голому телу — полосы боли.

Он ночью, один, сидит на больничном табурете.

Вера поняла: это он на ней играет, на живой арфе. Струны рвутся.

Нет, он сидит неподвижно. Она сама, одна, поет и плачет.

Вся дрожа музыкой, она привсталла на койке на локтях, и койка прогнулась. Человек, сидящий на табурете, не двинулся. Луна обливала его посмертным молоком, и оно густело, застывало потеками льда, и снова таяло, и плакало. Музыка становилась громче, Вера села в койке и обхватила себя за плечи, так сильно ее трясло. Человек на табурете открыл глаза и увидел ее. На кого он был похож? На миг Вере показалось: это ее отец. С того лагерного снимка, где эки сидят за длинным столом в столовой. И перед каждым алюминиевая серая тарелка. И перед каждым ложка. Лица серые глядят и не видят. Зачем видеть время, которое распорили по швам в прожарке и сожгли, и нет его?

— Отец, — неслышно сказала она, крепче вцепляясь себе в плечи, — ты прости меня, что я такая.

Длинноволосый голый человек на табурете ничего не ответил.

Луна вошла в палату и задернула штору. Серебряная прозрачная занавесь протянулась между голым заключенным и Верой. Арфа стонала, разламывалась надвое. Из Псалтыри скрюченные, дрожащие пальцы старухи Лизы судорожно вырывали страницу с любимой кафизмой. Зрение и слух Веры ломались, кричали и таяли, истекшая ночной кровью. Напоследок Вера успела заметить, что вдоль по его нагому телу, по груди, плечам, ключицам бегут вспухшие алые полосы. «Избили, в лагерях-то вон оно как, бьют, лупят почему зря, всего отделали, вот так оно в лагерях, долго будут рубцы заживать и в сырой земле не заживут, какие глубокие раны, как жестоки люди, жестоки».

* * *

<...> Перед Верой внезапно затанцевала змея. Она думала, такая реклама, и змея механическая. На асфальте старый потертый ковер расстелен, на нем изгибается кольцами крупный питон, а рядом дядька, красивый и небритый, щетка щетины серебряно играет в солнечных лучах, прохожие спешат, смеются, швыряют деньги в железную миску. Дядька, белокурый, с профилем старого ангела, протянул руку. Питон подставил плоскую хитрую голову. Скопил глаз. Дядька слегка сжал питону шею, и питон обвился вокруг руки мгновенно и бесповоротно. Вера испугалась: а если будет кольца сжимать! Рука тогда хрустнет в кости!

Она бросилась к облыселому ковру. Вцепилась питону в хвост.

— Отпусти сейчас же!

Небритый старый красавец хохотал, закидывая шею, кадык его хищно торчал.

— Осторожно, сударыня! Он сейчас на вас перекинется!

— Какая я вам сударыня!

— Ну, госпожа!

— Какая я госпожа...

Питон повернул голову, высунул язык и в одну секунду покинул руку дрессировщика и обмотался вокруг ребер Веры.

Она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ее лицо посинело, рот приоткрылся.

Красивый, как старый принц, небритый дядька хлопнул в ладоши. Быстро вынул из кармана крохотный пузырек. Надавил круглую крышку. Разнесся нежный тревожащий запах. Питон разжал кольца. Его тело, все в таинственных разводах и малахитовых узо-

рах, обмякло, опало. Словно нехотя, он сполз на ковер, подполз к ногам дядьки и улегся уютно и покорно, как кот на печи.

Народу возле ковра столпилось много. Аплодировали. Вера глядела туманно, невидяще. Колени ее подломились, и она грациозно, вроде как восточная пери, опустилась на колени. Змея косила на Веру бусиной круглого злого глаза.

— Браво, браво!.. а женщина тоже с вами работает?..

— Видишь ли, змея вместо ребенка, жалко их до чего...

— Брось, может, у них дома семеро по лавкам...

— Ты что, не видишь, дурень, она же не из цирка... так, прохожая, а змей напал... все вразправду...

— Э-хе-хе!.. а мужчина что, разве из цирка?.. сам по себе... теперь все частники...

— Меня, несчастную... торговку частную... ты пожалей...

— Теперь все торговцы... все торгуют всем... эти вот — змеей торгуют...

— Ну так ты и заплати!

— И заплачу... не возникай...

Вера, чтобы рассеять все сомнения, взяла да и поклонилась. Озорство разбирало ее, распирало изнутри. Красавец дядька оценивающе проехался по ней быстрым, цепким взглядом, быстро оценил обстановку, будто держал Веру на ладони, как кусок хлеба, и думал: съесть не съесть, свежий ли, черствый, а зуб не сломаю?

Тожe прижал растопыренные пальцы к груди и поклонился. В поклоне ловко подхватил питона на руки. Змея очухалась от жестоких, на нее выбрызнутых духов, ожила, дрожала расписной роскошной кожей. Дядька положил питона себе за шею, держал его одной рукой за голову, другой за хвост.

Вера следила за ним, как за врагом из засады.

«Жизнь и смерть держит. Вот голова, это жизнь, а хвост — это смерть. Или — наоборот?»

Люди кричали:

— Повторить! Еще!

Дядька, улыбаясь, обернулся к Вере.

— Слышите, гражданка, еще хотят.

Во рту его, среди прочих, еще крепких и белых, а может, нарочно выбеленных зубов, недоставало глазного зуба. «В драке выбили», — подумала Вера.

— Какая я... тебе... — она скатилась на грубость. — гражданка!

— Ну тогда товарищ.

Она уже смеялась.

— Товарищи зрители! — зычно возгласил воспитатель змей. — По вашим многочисленным просьбам... и заявкам! Концерт продолжается! И сейчас вы увидите смертельный номер! Называется «Неверная жена султана».

Обернулся к Вере. Она сразу поняла, чего от нее хотят. Хотела воспротивиться. Восстать, оттолкнуть дядьку и сломя голову убежать. Вместо этого, как под гипнозом, она стащила с плеч ранец, легла на ковер на спину, головой на ранец, сложила руки на груди и сделала вид, что сладко спит. Красавец сложил руки на груди и прохаживался по ковру взад-вперед, изображая бессонного грозного султана. Потом и он улегся на ковер. Вынул из кармана изогнутую в виде рога деревянную дудку с утолщением на конце. Дунул в нее: дудка издала тревожный гулкий звук, будто далекий муэдзин на минарете в ночи кричал, а может, пел в нос святые слова. Питон вздрогнул всей кожей, высоко поднял голову, поводил ею туда-сюда, быстро-быстро высовывал и прятал язык, а потом медленно, страшно пополз — все ближе и ближе к Вере.

Вера сама не понимала, что с ней такое стряслось. Руки ее превратились в лианы. Тело — в крупный гигантский стебель. Она, глядя перед собой расширенными глаза-

ми и не видя ничего, изгибала шею, сгибала ноги в коленях, сидя на ковре, исполняла древний, неведомый ей танец, играла в любовь, играла в смерть. Питон подполз совсем близко к Вере, и она положила обе руки ему на узорчатую кожу. Он полез вверх по Вере, как по дереву. Верины руки скользили по змее. Она трогала ее локтями, кистями рук, потом губами. Змея обвилась вокруг Вериных плеч. Вера гладила змею, приближала лицо к ее голове и приоткрытой пасти. Змея высовывала язык и касалась им Вериного рта. Публика затаила дыхание. Вера легла спиной на ковер, раскинув руки и раздвинув ноги. Питон свисался на ней кольцами. Кто-то в толпе крикнул. И засмеялся. Небранный дядька вздрогнул: изобразил, как султан проснулся, встал и прокрался к любимой жене в спальню. Люди молча следили за искусной пантомимой. Питон обвил ногу Веры и положил плоскую, как пирожок с капустой, голову ей на низ живота.

Дядька швырнул на ковер дудку, разинул рот и беззвучно заорал, потрясая в воздухе кулаками. Протянул вперед указательный палец. Это был приказ о казни неверной супруги. Питон сполз с тела Веры и, повинаясь владыке, обвился вокруг Вериной шеи.

И стал ее душить. <...>

* * *

Вера стала жить у дрессировщика в квартире. Две комнатенки на окраине, около шоссе Энтузиастов. Полупустые, в одной физкультурный мат на полу, в другой пружинящий матрац. Крошечная ванная, в ней маленькая стиральная машина. Кухня-скворечник. На кухне машина кофейная: красавец страстно любил кофе. Пил его без перерыва. За день мог выпить десять чашек, когда и больше. Питон Дервиш спал вместе с дядькой. Ласково обвивал его, клал огромную плоскую башку к дядьке на подушку. Звали дядьку женским именем Валя. «Валентин — это здоровый», — назидательно говорил он Вере, поднимая палец, словно определяя направление ветра.

Вера молча наклоняла голову.

Она не знала, сколько проживет здесь. Время сложилось цирковым веером. <...>

* * *

— Валя, — тихо, уставясь в кухонный пол, сказала она ему, — я от вас уйду.

Сидели за голым столом. За их спинами, в сковороде, ждал приготовленный Верой обед — шницеля, поджаренные с грибами и луком.

— Куда ты уйдешь?! — расхохотался Валя. — Побираться? Или в Сибирь вернешься автостопом?

— Что такое автостоп?

— Ну и дура!

— Я вам не говорила. Но сейчас сказать хочу.

— Ну, валяй! Колись!

— Мне в Иерусалим надо.

Валя присвистнул, потом зашелся в хохоте. Булькал, как чайник на огне.

— О-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Куда, куда?! Во, тетка, даешь! А поближе куда тебе не надо?! Париж открыт, но мне туда не надо! А-ха-ха!

Вера терпеливо выслушала весь его смех, до конца.

Бросила в наступившее молчание:

— В Иерусалим надо мне, и я туда доберусь. Вы меня отпустите, пожалуйста.

Валя прищурился, шагнул к шкафу, раскрыл дверцу и вынул темную бутылку.

— Красенького?
— Я вина с вами пить не буду. Мне с него плохо. У меня к вам просьба.
— Валяй!
— Мы будем выступать, вы мне денежек откладываете. Я на поездку так зарабатываю. А то где же мне заработать. И жить мне негде. Если вы, конечно, согласитесь. Если нет, я от вас уйду. Бог... — она запнулась, произнесла это слово, — мне что-то другое тогда пошлет. Кого-то.

Старый красавец склонил голову набок, как птица; рассматривал Веру, как замороженную колибри.

— Ишь! — выцедил. — Обо всем рассудила! Все взвесила! Да-а-а... Умна баба. Да нища, старая тряпка! Да ты никто и звать тебя никак! Да ты... да ты... — Вера видела, как у него перехватило дыхание. Он ловил воздух ртом. — Ты знаешь что... Оставайся! Ну, насовсем! Я привык к тебе!

За руку ее схватил. Крепко, цепко. Вера от боли сморщилась.

— Я женюсь на тебе! Хотя ты и старая кошелка!

Захотел опять. Хохот тоскливо повис кухонной гарью, угас.

В открытую дверь вполз питон, подполз к ногам Вали, обвился вокруг его ноги и положил по-собачьи голову на его колено. Валя рассеянно гладил голову змеи, сам безотрывно глядел на Веру.

— Дура. Я привык к тебе. Дура!

Вера все ниже опускала голову.

— Мне надо. Я уйду все равно.

— Куда ты без денег потопашь!

— Бог поможет.

Слово «Бог» она произнесла на этот раз более твердо. Даже радостно.

Валя то бледнел, то краснел. Потом с грохотом вытащил из ящика штопор и зло раскупорил бутылку. Вера уже вынимала бокалы. Валя уже разливал красное.

Ударил бокалом о ее бокал.

— За твой отъезд, дура, — тихо сказал. — Дам я тебе денег. Есть у меня. И загранпаспорт сварганю. Палец о палец не ударишь. Принесу, дура, на тарелочке. С голубой каемочкой.

И он сдержал свое слово.

* * *

<...> Она впервые в жизни летела самолетом. Да, ей было страшно, но не настолько, чтобы паниковать. Когда самолет загудел и стал набирать скорость, она вцепилась в подлокотники кресла; когда взлетел, она разжала руки, глубоко вздохнула и заткнула пальцами уши — гул показался ей невыносимым. Потом привыкла. Самолет нырял в воздушные ямы, Веру тошнило. Она изо всех сил подавляла приступы рвоты. Стюардесса подошла к ней и сладким голосом спросила, чего ей надо. Ничего не надо, замотала Вера головой, спасибо. Стюардесса быстро убежала по ковровой дорожке и быстро прибежала с подносом в руках; склонилась перед Верой, будто перед шахиней, и быстро щебетала — угощала. Вера протянула руку и смущенно взяла с подноса тарелочку с красной икрой и толстопузый бокал; ей почудилось, в бокале сок. Поднесла бокал к губам, в нос ударил мощный спиртовый дух. Это оказался коньяк. Вера никогда не пила коньяк, только водку и вино. Она осторожно втянула запах ноздрями, нюхала долго, пьянела от запаха, улыбалась. Чуть пригубила, держала бокал на коленях, обнимая обеими руками, грела ладонями. Она не знала, что именно так, в ладонях, греют коньяк.

...черный крест... самолет...

...красный плот...

...красный крест... нет мест... норд-ост, зюйд-вест...

...красный крест. Он горит. Я баба, я должна его вышить. Тогда... еще можно выжить.

Но я не рукодельница. Я моей жизни мельница. Я не Анна Власьевна. Лечу. Слетаю с ума. Я лучше тем крестом стану сама. Раскину руки... будто обнять... я — мать... всеобщая мать... Железный гроб в небесах. Я лечу. Я дух. Я прах. Свечой — свечу.

...крыла... я — в небо ушла...

Откусила от тарталетки, чмокала, наслаждаясь, ну, красную икру она ела в Сибири не раз, чаще в гостях, а когда распродала, задешево и сама покупала; прихлебывала коньяк, так потихоньку и выпила все, до дна, захмелела, развеселилась. Спать захотелось. Вера уснула, и бокал вывалился у нее из рук и покатился по проходу салона. Ренец ее торчал из-под сиденья: ей разрешили пронести с собою ручную кладь.

Когда она проснулась, она услышала рядом разговоры других людей. Люди беседовали о чем угодно: о здоровье, о еде, о войне и о мире. Вера поняла, что все боялись близкой войны и только о ней и говорили, а если даже не о ней говорили вначале, то на нее все равно сбивались. Она прислушивалась. Толстый, как сдобный пирог, мужчина, шикарно одетый, с золотым, с алмазом, перстнем на безымянном пальце, громко вещал кудрявой болонке-соседке о том, что он скоро уезжает в Канаду на пээмжэ. Вера думала, Пээмжэ — это такой город в Канаде, и может, даже курорт с лечебными ваннами и спа-процедурами, а потом догадалась: это Постоянное Место Жительства. «Дура ты и есть дура», — презрительно подумала о себе. Толстяк возглашал:

— Да вы знаете, сударыня, сейчас все отовсюду бегут! Украинцы бегут в Америку, в Канаду. Азиаты — в Европу. Тучами наваливаются, роями! Германия вот точно скоро потонет в турках! Там в школах, знаете ли, учатся одни турецкие дети! Немчиков раз-два и обчелся! Наши евреи бегут, миль пардон, в Израиль! Вся моя родня — давно в Израиле! В Яффо, в Тель-Авиве, в Хайфе! Хайфа, о, знаете, сударыня, это такой красивый город! Красивейший! Одесса-мама ну просто отдыхает!

Вера не расслышала толком, что ответила дама. Кажется, она возразила и стала защищать Одессу. Толстяк поморщился.

— А чего в Одессе такого уж эффектного?! Оперный театр?! Потемкинская лестница?! Ланжерон?! О, Господи... Ланжерон... Сколько я там ракушек очаровательных находил когда-то... Сейчас, перед Канадой, вот тоже, знаете, хочу по Ланжерону побродить, ракушку, черт возьми, поискать... черт меня возьми совсем... да...

Он повернул жирное блестящее лицо к Вере, тройной подбородок дрогнул, и Вера вытащила из кармана носовой платок и протянула толстяку.

— Вот... вытритеесь...

Толстяк оттолкнул ее руку.

— Фу! Какую грязь вы мне предлагаете! Вытирайтесь сами!

— Он чистый, — растерянно возразила Вера, — я стирала...

Толстяк вынул из кармана свой платок и утер глаза, рот и подбородок. А слезы все мелко, градом, катились, лились ему за шиворот, под крахмальный воротничок.

Стюардесса подкатила тележку на колесах. Сначала по-иностранному спросила, потом по-украински, потом наконец по-русски:

— Обед желаете? Курочка с рисом, салат, сок, вода, коньяк?

— Коньяк, — сказала Вера и протянула руку.

Толстяк захохотал, и подбородки его затряслись.

— Ишь, какая лизоблюдочка! А закуски к коньяку? Давайте, милочка, давайте все, что там у вас есть!

— Не все, что есть, — строго сказала стюардесса, продолжая мило улыбаться, — а то, что полагается.

Откинула раскладные столики, расставила бумажные тарелочки с яствами, бокалы с коньяком, улыбнулась до ушей, унеслась, катя тележку перед собой.

Толстяк заинтересованно глядел на бедно одетую Веру.

— А вы, сударыня, смею полюбопытствовать, к кому в Одессе? К родне?

Вера держала бокал в руке и весело глядела на толстяка. Глаза ее, широко, по-коровьи расставленные, чуть раскосые, серым жемчугом блестели.

— Или Одесса для вас перевалочный пункт? Хм, ну, транзитом проедете?

Хмельная Вера сощурила глаз и посмотрела на толстяка сквозь прозрачную толщу коньяка.

— Транзитом. Я — в Иерусалим еду.

— О! — закатил глаза толстяк. — На Святую Землю! Недурно, сударыня, недурно. Паломница?

Опять окинул насмешливым взглядом ее бедный наряд.

Вера поежилась, собрала пальцами на груди воротник темной кофты на мелких пуговицах.

Бокал с коньяком дрожал в ее другой руке.

— Да. — Врать так врать. — Паломница.

— Хм, святое дело. — Толстяк тоскливо вздохнул. — А я вот... в город детства. Может, там, на пляже, вместо ракушек... свое детство найду! Выпьем?

Соседка-болонка обиженно кашлянула. Она привлекала к себе внимание.

Толстяк поправил в кармане роскошного пиджака белый торчащий уголок платка. Помял шелковый узел галстука. Вдруг рванул галстук, стащил его, бросил на пол самолета. Сложил губы в улыбку, и на Веру изо рта его блеснул старинный золотой зуб. «Как у бандита», — подумала Вера. Толстяк взял с раскладного столика бокал и двинул им о бокал Веры.

— За наше детство, — сказал, задыхаясь. — Ой, нет! Давайте лучше за...

— За любовь! — задушенно, высоким журавлиным голосом крикнула кудрявая соседка через их головы. И ближе посунула к ним свой бокал.

— Елочки же палочки! — выдохнул толстяк. — Конечно, за нее, родимую! Со мной, в этом же самолете, летит моя любовь. Девушка моей мечты! О, если бы вы видели мою девушку! Ну, в Одессе по трапу будем сходить, увидите! Принцесса!

— А где она? — спросила Вера.

— В бизнес-классе! Со всем шиком! А я тут! В эконо-дерьме! Я — ближе к народу! Потому что я сам народ! Выпьем!

Они выпили. У Веры загудело в голове. Она опять вся и вдруг стала музыкой, звучала, вибрировала — звучали пальцы, дрожали плечи, тихо пели ноги, шелестели губы, звенели волосы, развиваясь, выпадая из пучка, похожего на кукиш. Вера косилась на толстяка и думала: «Вот у такого жиряги и девушка-красотка есть, ну, небось она за деньги замуж вышла, а может, и не замуж, а так, а может, он добрый, хороший человек, а может, он мужик хороший, ну, в постели, даром что жирняй», — и пугалась своих грубых, циничных мыслей, как пугаются летящего под откос поезда. Кудрявая болонка улыбалась толстяку коралловыми крашеными губами, поправляла на морщинистой шее ослепительно сверкающее кольцо. «Драгоценности все на себе везет, и не боится, что сорвут с груди».

— Вот вы, паломница, — толстяк отпивал коньяк из бокала медленно, вкусно, — а коньяк пьете!.. вы вот скажите мне: каково это — верить в Бога?.. Ну, какое у вас чувство, ну, что вы верите. Я вот не верю, мне интересно. Как вы... ну... Его — чувствуете? Или никак? Нет, как-то ведь чувствуете все равно. Без чувства веры нет. Чувство... это...

это ведь как любовь! Вот я люблю мою девушку. О!.. очень. Так люблю, так!.. жизнь за нее отдам. Я ей и так все состояние свое отписал! Все — ей — завещал! Кожу с себя готов содрать — и ей отдать!.. А вера... вера... что она такое? Ну, что вы... да, вот вы... паломница... ощущаете, когда губами к иконе прикасаетесь? Или вот в Иерусалиме пойдете ко Гробу Господню? Или там... в Вифлееме поедете, туда, где Иисус в яслях лежал, с коровами и овцами?.. А?.. Благоговение... или что другое?.. что... другое...

Самолет внезапно накренился на один бок, перекатился на другой, чуть не сделал «бочку», с трудом выровнял полет, потом его сильно, мощно тряхануло, и он задрожал крупной противной дрожью — так, что зазвенели все его стальные сочленения, кольца и винты.

— Трясет, как в преисподней! — сказал толстяк.

Коньяк выплеснулся из бокала ему на штаны.

Самолет клюнул носом воздух и стал падать. Люди в салоне завизжали. Спящие дети проснулись и громко, пронзительно заплакали.

— Мы умрем! Умрем!

Кудрявая болонка поднесла оба кулака ко рту и кусала их и орала как резаная.

Вера ни на кого не смотрела. Она смотрела вперед.

«Ну вот и все. Как все просто! Какая же простая и маленькая жизнь! Сколько ни живи, а все будет мало. Как все вопят! А вокруг нас, в небе, какая тишина! Никому нет дела до людей, что орут в самолете. И даже Богу до нас дела нет! Падаешь — и падай! И не плачь, потому что некому и незачем плакать! Зачем они все так страшно кричат?»

До нее донесся дикий голос:

— Люди! Люди! Я поганец! Я людей убивал! Люди! Каюсь! Боже! Если Ты есть! Прости меня! Люди! Простите! Простите! Я не хочу так просто уйти! Непрошенным! Простите!

Голос поодаль закричал с надрывом:

— Да простили тут давно все тебя! И Господь простил!

Вера глядела прямо перед собой и не видела, как торопливо, истерично, мелко дрожащей рукою крестится толстяк. По толстому лицу тек пот вперемешку со слезами. Толстые, вывернутые по-негритянски губы бормотали:

— Люсенька... Люсенька... я тебя... не увижу... не обниму... где ты, крошечка моя... красавица...

Опять на одно крыло, на другое перекатился железный бочонок. Люди плакали. Крики бились о стены салона. Кудрявая болонка низко нагнулась, приблизила лоб к согнутым коленям и обхватила ноги руками. Как кошка, она пыталась свернуться в клубок, чтобы спастись.

Вера сидела деревянно, пристегнутая ремнем. Мысли сначала еще жили в ней, потом враз все умерли. Во рту у нее пересохло. «Питья, — подумала она жестоко и жестоко, — на том свете уж точно не поднесут». Стюардесса металась по салону, потом не удержала равновесия, и упала, и поползла, хватаясь руками с намазанными лиловым лаком ногтями за кресла, за ковер, за подлокотники.

— Уважаемые пассажиры!.. господа!.. гос... по...

Она еще пыталась быть вежливой. Ее выучили правильно.

— Эй! — крикнул толстяк Вере в ухо.

Она обернула к нему невидящее лицо.

— Увидимся на том свете?!

Что ей было делать?

Надо было говорить ему правду.

Или — солгать.

Беда была в том, что она не знала ни лжи, ни правды.

Ничего не знала.

— Увидимся! — крикнула она ему в ответ сквозь вой в салоне и людские вопли.

И сама заплакала, оттого что человеку перед смертью неправду сказала.

* * *

Самолет будто провалился в вату. Выровнял полет. Гудел ровно и мерно. Больше не трясло.

Все изумленно оглядывались, смотрели друг на друга, смотрели и не верили тому, что живы. Что все кончилось. Кончился страх и ужас.

Стюардесса, стыдясь, одергивая задранную юбку, медленно поднялась с пола. Поправила волосы. Заученно улыбнулась. Сверкнули зубы. Она стала говорить, и ее голос напоминал голос сломанной куклы, заведенной сломанным позолоченным ключом:

— Уважа... емые!.. пассажи... ры. Мы попали в зону... тур... тур... бу... лентности... и теперь вышли из нее. Мы!.. продолжаем наш полет. Просьба всем... кто не... пристегнуть ремни... а кто... не... отстегивать... до посадки... и полной остановки самолета. Мы!.. скоро!.. прибываем в аэропорт города...

— Одессы, — хрипло закончил за стюардессу толстяк. Он нашел пухлой, как подушка, рукой руку Веры и сжал ее тепло, больно и отчаянно. И Вера ответила на пожатие.

— Просьба всем оставаться на... местах!.. до полной остановки... двигателей...

Самолет начал снижаться. Это уже не было падением. Он снижался по глиссаде, в иллюминаторах вспыхивал облачный туман. Когда шасси коснулось земли, Вера прикусила зубами губу, потекла кровь. Когда самолет встал на месте и затих, толстяк отстегнул ремень, уткнул лицо в ладони и затрясся в неудержных, совсем бабьих рыданиях.

* * *

<...> Все ближе подходила она к домишку на берегу, и да, это было крохотное приморское кафе; смеркалось, и в полумгле оранжево, лимонно горел и переливался дьявольский неон в неуклюжих буквах над крышей: «КАВЯРНЯ». Ветер выдул из Веры последние остатки тепла. Дрожа, вошла она в кофейню, поднесла ко рту руки, дышала в ладони, даже пососала грязные пальцы, как леденцы.

— Ви продрогли? Погрійтеся! — Бармен с полотенцем через запястье склонился перед ней в радушном поклоне. — Сідайте, пані, ось вільний столик!.. Чашку кави бажаєте або чого міцніше?..

Она села, стащила со спины ранец, затолкала его под стол и щупала ногами, чтобы не украли; ей принесли на подносе кофе и в блюдечке — темный коричневый сахар. Она впервые грызла такой сахар. Фруктовый?.. медовый?.. Окунала кусок сахара в кофе, пила вприкуску. Блаженствовала. Как ей было хорошо! Забылась. Забыла, кто она, куда и зачем движется по земле. В зал вошел человек. Она сперва не заметила его. Такой он был серый, как мышь, незаметный. Низкорослый, худой. Будто невесомый. За его плечами болтался то ли старьевный мешок, то ли старый рюкзак. То ли бродяга, то ли прокуренный рокер, то ли несчастный бомж, то ли тайный наркоман, неприкаянный, неслышный, он прокрался сквозь столы, выбрал Верин стол и сел за него, ощупывая странную суровую женщину глазами, будто то была нарядная рождественская елка.

— Можно мне с вами?

Бродяга говорил по-русски.

Вера вздрогнула, и ее глаза стали опять видеть.

— Да. Конечно.

— Добрый вечер.

— Добрый.

К бродяге тут же подскочил официант; судя по всему, бродягу тут хорошо знали.

Он уже отхлебывал из огромной чашки кофе, и уже курил, ссыпая пепел в пепельницу, не глядя; и уже улыбался Вере беззубым жалким ртом, и уже говорил, и болтал, слово за слово, а Вера хранила молчание, как хранит его холодное море.

— Вы тут одна сидите!.. я и думаю, развлеку. И сам развлекусь. Знаете, тяжело мне жить. Несладкая моя жизнь!.. а у кого она сладкая?.. сладкой, ее просто нет. Все мы, блин, сладкоежки!.. а надо мясо грызть, мясо, и крепкими зубами. Вы знаете, я ведь гений. Ну да, не делайте круглые глаза!.. Не думайте, я не псих. Я настоящий гений! Чистой воды. Алмаз «Шах». Или там «Орлов». Без примесей. Играю на солнце! А меня — в грязь, в грязь! Да сапогом, сапогом! И булыжником — вдребезги!.. да я привык. Я написал гениальную книгу!.. да!.. подобную Псалтыри!.. новую, не побоюсь так сказать, Псалтырь, да у меня рукопись утащили. Да, так просто, взяли — и украли! А у вас что, никогда ничего не крали? И даже деньги?.. и даже губную помаду из сумочки?.. ну да, вы не краситесь... вы — без макияжа, ах... это тоже сейчас модно, мода такая, голое лицо... Я плакал! Дико, страшно плакал! Потому что рукопись моя была в тетради, никакая не виртуальная! А потом, знаете... больно говорить, да... — Отхлебнул горячего кофе. Закрыв глаза. Вера глядела на его впалые щеки, на его щетину и морщины, длинными стрелами через все лицо. — Ну как не сказать... У меня же-на ушла... и унесла с собой ребенка... моего ребенка... но это полбеда... она... она... убила меня.

Вера думала: «Господи, да воистину сумасшедший».

Но слушала молча, терпеливо.

— Что, думаете, безумец я? — Бродяга криво усмехнулся. Грел руки о чашку. — Думайте на здоровье. Это ваше право. Жена ударила меня ножом. Вот он след! — Бродяга внезапно со звоном отставил чашку и потянул вверх рубаху и полу куртки, под рубахой мелькнули полоски тельняшки, он бесстыдно обнажил ребра, через ксилофон тощих ребер тянулся длинный белый, грубый шрам. — Хороший след мне женка оставила?.. да, знатный. На всю оставшуюся... да ладно, это бы еще полбеда. Знаете, что потом-то было?.. а?.. не знаете. А потом она себе по ребрам тем ножом полоснула, да так, шутиливо, чтобы только поцарапать... а рукоять ножичка сухо-насухо вытерла... и мне в руку всунула... чтобы мои пальчики отпечатались. Лежу на полу, в кровище, нож у меня в руке, сжимаю его, да все я понял тогда сразу, а куда бежать, кровью истекаю, сознание уходит!.. она убежала, стервь. И дочку, дочку унесла... так орала дочка... как поросенок под ножом... Короче... женщина... и вы женщина, и она — женщина... в тюрьму меня-таки посадили!..

— В тюрьму, — эхом повторила за бродягой Вера.

Кофе в чашках остывал.

Она не могла оторвать глаз от его лица: оно светилось.

— И — отсидел!.. еще как отсидел... оттрубил... тика в тик... десятку... адвокат как ни бился, чтобы до пятерки скостить, не смог... И — вышел! И... в монастырь двинул!.. вот куда. Монастырь — счастье мое и проклятье мое. Оказался я там, в келье — и что?.. одинок, матушка. Одинок! Впору меня самого свечой у аналая жечь. Так и сгореть хотел, такой свечой. Тосковал!.. выл. Ночами — выл! Вслух Псалтырь читал. И Евангелие — читал. И пока читал, знаете? — много постиг. Главное — постиг!

Вера дрогнула бескрылой спиной. Под лопатками заболело, заныло.

Что это такое он главное-то постиг?

Любопытство разобрало ее. Боль прошла вдоль хребта, вспыхнула и умерла в горячо бьющемся сердце.

— Вокруг меня стали, знаете, монахи толпиться. А я им — свои мысли излагал! И вроде как мое учение это было. Не смейтесь! А впрочем, можете и смеяться. Я не запрещаю. Смешно, да, смешно все, что я вам тут болтаю. Жизнь вообще смешная штука. Монахи меня слушали, раскрыв рты!

И тут Вера раскрыла рот.

Она не могла удержаться.

— А о чем... вы им говорили?

— О чем?! — Бродяга хитро прищурился. — А вам так хочется знать?.. Извольте!.. расскажу. Пока нас отсюда никто не гонит. Каварня эта не круглосуточная, но до двенадцати ночи мы точно посидим. Не попрут. Меня тут любят. Я тут все починаю. И электропроводку... и полки прибиваю... и люстры прикручиваю... и... О чем?! О том! Делай что хочешь, да, только потом будь готов, что придется отвечать. За все, что сделал. И необязательно на небе. И на земле — ответишь! Обманываешь? Тебя тоже обманут, и еще как! Своруешь?! Тебя обворуют, да всего обчистят, до нитки! Изобьешь кого втихаря?.. не взыщи: тебя так отделают, маму родную не узнаешь. Исхлещут всего, в кровь, до кости!

Вера цапнула бродягу за локоть. Ее затрясло.

— Так, значит... — Она дрожала все сильнее. — Вот Христос! Вот его избили... ну, мучили Его... в тюрьме, когда Иуда Его поцеловал и Его в тюрьму солдаты забрали. Били Его солдаты! Смертным боем били! Мне старуха Расстегай говорила. А потом я и сама прочитала. В Евангелии! Истязали! К столбу привяжут и бьют! В смерть бьют! Без пощады! И что же?! Что ж это значит, а?.. что Христос кого-то, значит, сам когда-то избил... над кем-то надругался... а теперь — Его самого пытаются?! Так, выходит?! Не понимаю. В этом твоя истина, что ли?! Ошибаешься ты!

— Нет! Не ошибаюсь! — Бродяга тоже кричал. — Все — так! Все! Кроме — Христа! Он ведь за нас за всех муку принял, ни одному живому существу не причинив зла! На то Он и Бог! Поэтому — Бог! А все мы — грешники!

— Господа-товарищи, — по-русски, презрительно бросил бармен от уставленной бутылками стойки, — пожалуйста, потише... у нас посетители, неудобно... Алешенька, ты-то что разорался на ночь глядя...

— Прошу прощения, — бродяга прижал ладонь ко груди и поклонился в сторону бара, — больше ни-ни...

— Тяпнул, что ли, уже где?

Бармен сердито протирал полотенцем бокалы.

— Нет, нетушки... ни в одном глазу... я трезв как стекло...

Вера заглянула в чашку. Черная кофейная гуща стояла на дне чашки нефтяным озером.

Бродяга вздохнул раз, другой тяжело, длинно.

— Жизнь... жизнь... Я говорил монахам: не бойтесь любить! Вы боитесь даже друг-у, соседу услужить, доброе слово сказать. Что толку, что вы молитесь? Вы делами — молитесь! Делами — Бога славьте! Я учил: есть люди, совсем не верящие в Бога, они даже над Богом смеются, атеисты, глухие к Богу и слепые, и обижают Его, оскорбляют... Но они так живут... так!.. что они — самые подлинные, настоящие христиане! И людей любят. И им помогают. И слабого — жалеют. И все строят, создают, и бескорыстно, не за мзду! И милость к врагам даже имеют! И четко — по Христу! — после удара по правой щеке — левую смиренно подставляют! И смеются над мучителем! И живут полной жизнью, и снова любят, любят! Ближнего — любят! И что? Что после этого ты скажешь? Что они — не во Христе живут?.. Еще как во Христе! Еще какие они христи-

ане! Самые наилучшие! Честнейшие! Только что — лоб не крестят! И их-то надо уважать, и приветствовать, и любить, потому как они — наиглавнейшие дети Христа! А не те, что в монастырьках за трапезой сидят да к обедне гуськом тянутся! И вот так... вот так я монахов-то там, в монастырьке моем, и учил... А игумен пришел как-то раз... перед дверью стоял — и все подслушал... и меня после за шкуру схватил!.. и орет: ересь глаголешь, ересь! Вон, кричит, из монастыря! Мирской ты человек, и топтать ты тут нашу монастырскую травку, и сажать монастырскую капустку не должен, и кондаки и ирмосы с нами распевать — опять же не должен!.. ничего ты тут не должен... И — никому... И — жми отсюда... чеши к едрене-фене...

— К едрене... — Вера смешливо прижала ладонь к губам, — так прямо... и сказал?..

— Ну, там я дословно не помню... но смысл такой... Короче, собрал я манатки... не ко двору я пришелся. Да там послушник был один. Молоденький! Совсем юный. Ко мне так привязался! Я ему как брат был. Родной. Он мне все услужить старался. Помочь. Я там, в монастыре, руку сломал. Ремонт у нас был, я белить стену известью полез, на леса взобрался, люльку со мной стали на ремнях поднимать, ремень оборвался, ну, и я упал. Об пол шмякнулся. Рука — хрясь! Так тот послушник сам гипс раздобыл, сам лангетку наложил. Руку мне забинтовал, как младенчика. Все спрашивал: больно? больно? Заботливый. И вот когда я уходил... ну, разжалованный уже, расстриженный... послушничек этот как метнется ко мне! Как обнимет! Крепко-крепко! И зарыдал у меня на плече. Как, знаешь, Давид с Ионафаном обнялись... и рыдаем оба... ну, он мальчишка, слабодушный... а я, взрослый мужик, и чего реву?

— Давид... — морщила лоб Вера, — Давид... это царь Давид, что ли? Который Псалтырь сочинил?

— Сочинил... — Бродяга, вроде Веры, в чашку свою заглянул. — Такие книги, знаешь, не сочиняют. Они — богодухновенные. Тебя как звать?

Вера не заметила, как, когда они перешли на «ты».

— Вера.

— Хорошее имя. Крепкое. Такое... — Бродяга сжал кулак и потряс им. — А я...

— Ты Алешенька.

Бродяга изумленно воззрился на Веру.

— Откуда ты знаешь?!

— Я услышала. Тебя называли так.

Кивнула на бармена. Бармен сидел на круглом высоком стуле и медленно, важно курил. Алешенька отковырял ему, как офицер генералу.

— Точно. Алешенька я. Неприкаянный. Да вот, Вера, в путь я собрался. В неблизкий.

— В путь?

— В путь.

Вера вздохнула.

— И я тоже в пути.

Алешенька улыбнулся ей так светло, будто среди ночи солнце взошло.

— Значит, мы с тобой оба путники.

— Да. Путники.

Ей понравилось слово «путники». «Путники, путники», — неслышно вышептывала она горячими губами. Сцепила чашку рабочими крепкими пальцами. Подняла. Стукнула чашкой о чашку Алешеньки.

— Давай допьем. Выпьем. Кофе. За нас.

Опрокинули чашки себе во рты. Проглотили холодный кофе и засмеялись.

— Кофе — за здоровье! Ну мы даем! А может, Вера, чего покрепче? Глянь, у них полно тут чего покрепче. Заказывай.

— А у тебя деньги есть?

— Есть. Не вопрос. Что берем?

Взяли пузатую бутылку местного, одесского коньяка. Бармен принес, откупорил, поставил бокалы, нарезал тонкими ломтями яблоко, в розетке поставил на стол маслины и сыр. Алешенька поблагодарил бармена гордым царским кивком.

— Потом рассчитаемся, Жорик.

— Я много не буду, — тихо сказала Вера, глядя на пузатую, как тот толстяк в самолете, бутылку. Алешенька усмехнулся.

— И мало тоже. Прозит, как говорится!

— Что-что?

— Темнота. Твое, типа, здоровье!

Вера больше нюхала коньяк, чем пила. Алешенька пил много, забрасывал в рот маслины, веселел, розовел. Его торчащие скулы пылали, как в жару. Пьянел он быстро и радостно.

— А-а-ах, Верчик! Хорошая ты баба. А куда стопы направляешь? Из нашей милой, славной... Одессы-мамы? Одесса-мама, Ростов-папа! Снимите шляпу!.. Одинокая? Или замужем?.. да мне-то что, мне плевать. Разные у нас дорожки!.. тришки-ешки!..

— А ты куда?

Вера уткнула нос в бокал. Коньяк пах черносливом и шоколадом, а еще немного дорогим табаком.

— Я-то? Я — в Хайфу. Паром мой через пять дней. Надо обождать. С тоски помру!

— Я тоже в Хайфу, — сказала Вера, искоса, через стол, глядя на монаха-расстригу.

— И ты в Хайфу?! Вот так да! — Алешенька расплылся в широкой улыбке. — Промысел Божий! Вместе поплывем! И молиться, — он сглотнул и восторженно поглядел на коньяк, — будем вместе...

— А ты зачем в Хайфу? — Вера захотела блеснуть знанием. — На пээмжэ?

Алешенька захохотал. Оборвал хохот.

— Вроде того. У меня билет в один конец. Я там... Вера... в монастырек тамошний хочу попроситься. И... остаться. И чтобы укрыли. Там... там хочу. Хочу... На Святой Земле. Я тут, на грешной-то, хлебнул горячего!.. я не все тебе рассказал, не-е-е-ет. Не все! Я — грешник! Грешник великий. Отмолить грех свой хочу! А он у меня такой... такой...

Согнулся. Выгнул спину. Бессильными руками лицо закрыл. Пьяно заплакал. Стал раскачиваться за столом, чуть со стула не упал. В край стола вцепился, изругался шепотом.

— Какой? — тоже шепотом спросила Вера.

Спохватилась:

— Не надо. Не рассказывай.

— Не... буду... — всхлипывал Алешенька. — А впрочем, скажу... В двух словах... Ты — поймешь... Ты же Вера... Я обуреваем дьяволом был... в компашке тут одной мы собрались... Это уже на Украине произошло. Да... тут... под Одессой... за городом... хуторок на берегу... море такое славное, ласковое... и девочка... девчонка эта... Короче... еще короче...

— Я поняла, не надо! — тихо вскрикнула Вера.

Алешенька не слышал ее.

— Дочка хозяев... лет десять ей... банька там у них, во дворе... прибой в камни бьет... Гости орут: баню хотим! Баню растопили... девочка эта — нам веники несет. Березовые... Паримся, хлещемся... и тут... собутыльники мои делись куда-то... я — один... за стенкой, на улице, на ветру — голосок... песню поет... Я вышел, сгреб ее в охапку, в баню внес... дьявол это, Вера, дьявол... Он — везде... вот он за тобой сейчас следит! Подсматривает! И только ищет удобного момента... ждет... выжидает... маленькая де-

вочка... беленькая, как вареная курочка... глаза такие у нее были... я ей рот рукой зажал... она мне всю руку искусила... всю...

Вера оттолкнула от себя бокал. Он скользко проехался по столу и упал на пол. Нагнулась, подхватила из-под стола ранец и побежала к двери.

— А платить?! — кричал вслед бармен.

Алешенька кинул на барную стойку купюру и, заплетая ногами, ринулся за Верой.

Догнал ее на ветру. Ветер крутил и мотал перед ее лицом ее жесткие волосы. Она сжимала руки в кулаки. Шла быстро, да ноги вязли в песке. Шла вдоль берега. Море плело дикие, разбойничьи кружева прибоя. Алешенька пьяно костылял за ней, протягивал руки к ней, будто ей молился, а она была икона, и ожила, и навек уходила от него.

— Вера!.. Вера!.. Ну что ты!.. брось!.. я пошутил!.. Я все придумал!.. чтобы тебя напугать!..

Вера шла, в нитку сжав губы.

Алешенька забежал вперед. Раскинул руки. Вера остановилась, тяжело дышала.

— Пусти!

Она плюнула на песок. Ночное небо сияло кучей малой крупных и мелких, бешеных звезд.

Ветер крутил Верину юбку и редкие сивые волосенки Алешеньки на его голой голове.

— Ты как мать игуменья! Ну, накажи меня! Расстриги меня вдругорядь! Чтобы неповадно мне было! Епитимью на меня наложи! Кирпичи меня... заставь... всю жизнь таскать! Или... воду из моря черпать! И в пригоршне — на берег носить! Всякую чушь делать буду! Только... не... уходи!

Крикнул отчаянно, хрипло:

— Не покидай!

Вера дрожала. Ей было отвратительно и больно. Боль рвала ее на части, раздирала. Ее будто кто-то огромный ломал на части, как жареную курицу, рвал, терзал, вцеплялся в нее зубами. Будто звезды небесные превратились в острые зубы и грызли, жевали ее, перемалывали. Ветер налетел, мощный его порыв толкнул Веру в грудь и чуть не уронил ее на песок. Алешенька упал перед ней на колени.

— Я чудовище! Я дерьмо! Но я хочу... снова стать человеком! Я хочу... Вера... к Богу! К Богу вернуться! Меня же к Нему уже звали! Много званых, Вера, да мало избранных! Помоги!

Его руки обняли ее, его лицо уткнулось ей в живот.

Она, сама не понимая зачем и почему, гладила его по затылку, как ребенка.

— Не плачь...

Его руки сжимали ее все крепче.

— Вера! Прости меня! Я пьянь, я дрянь... Но я тебе все рассказал! Как на духу! Ты — моя священница! Ты — исповедь у меня приняла! Так отпусти! — Он хрипел из последних сил. Ветер забивал ему глотку, перекрикивал его воем и свистом. — Отпусти мне грех! Не могу я с ним жить!

— Встань! — крикнула Вера. — Песок сырой!

Алешенька не мог встать. Он крепко запьянел. Вера подала ему руку и стала тянуть его вверх. Все вверх и вверх. И он вставал, поднимался, все вверх и вверх, все вставал и вставал, и все никак не мог встать.

Встал наконец, не вровень с ней, а ниже ее — маленький, шуплый. Жалкий.

— Где мы будем жить?

Ветер перекрывал тихий голос Веры.

— А разве мы... будем жить?..

Вера улыбнулась. Мимо ее глаз осеннее море текло белой суровой нитью прибоя, нить под ветром то и дело рвалась, и сыпались, печально осыпались крупные и мелкие, дальние и ближние, бедные звезды белыми тыквенными семечками в соленую пену.

— А как же... еще как будем... Ну где-то нам... надо... пять суток переждать... не на вокзале же... а можно и на вокзале...

— Нет... на вокзале не надо...

Уже оба друг другу улыбались. И губы их дрожали. Алешенька дышал хрипло, потом закашлялся, и кашлял надсадно, и вынул из кармана платок, и Вера в свете звезд увидала на платке красное пятно.

Алешенька быстро спрятал платок в карман, затравленно глянул на Веру и зло, резко спросил:

— Ну что зыришь?... да, болен я... а помирать хочу там... там... у Христа... поняла?!

— Поняла, — сказала Вера.

Она взяла Алешеньку под локоть и повела. Потом он вырвал руку и взял под локоть ее.

Они шли по берегу и не знали, куда и зачем шли.

Шли, чтобы идти.

И в этом был весь смысл; и все чудо; и все наказание; и все прощение.

* * *

У бродяги Алешеньки в карманах, как выяснилось, водилось много разномастных денег: и гривны, и доллары, и евро, и русские рубли, и даже почему-то дерзко затесались среди прочих купюр мексиканские песо. Они сняли в дешевой гостинице на отшибе номер на двоих. Гостиница притулилась у самого моря, ее стены сотрясал ветер, ветер выл в трубах, срывал с веревок на балконах белье постояльцев. Море грохотало, как в бубен. Алешенька смеялся над ранцем Веры: «Какой детский сад, старшая группа!» Вера хохотала над рюкзаком Алешеньки: ну надо же, столько валюты с собой, а рюкзакишко весь штопанный-перештопанный!

Ели в гостиничном буфете. Все просто: бутерброды, сосиски, чай. Буфетчица бойко сыпала и сыпала перед ними дробной чечеткой украинську мову. Вера пожимала плечами. Она иногда ловила в россыпи чужого языка знакомые слова. Алешенька важно, изысканно говорил по-украински, вел с буфетчицей душещипательные беседы: о детях, о моде, о загранице. Хохлушечка с метельной кружевной наколкой в пышных черных волосах уже знала, что они оба на днях уплывают на пароме в Израиль. «Які ви обидва щасливі, ви побачите Святу Землю! Я так заздрю вам!»

Буфетчица думала, что они семейная пара.

Кровати в номере стояли сдвинутые, они их растащили по разным углам. Когда Вера раздевалась, Алешенька выходил покурить. Курил он редко, и Вере казалось, он делает вид, что курит. «Тебе же нельзя!» — сказала она, намекая ему на его плохой, кровавый кашель. «Мне теперь все можно», — мрачно и твердо ответил он, и подобростил на ладони пачку сигарет, и поймал, как жонглер в цирке.

Дни текли, накатывал прибой, бил в просоленные валуны, ласкал темный, серый сырой песок, и Вера с балкона глядела на море долго и нежно, слезно, — так глядят на возлюбленного, которого покидаешь навсегда. Приближалась зима, и не было у Веры теплой одежды, подарила она ее птичке в столичной больничке, ну да ладно, это ничего, успокаивала она себя, на юг же еду, там зимы не бывает. Алешенька сказал ей, что в Израиле два раза в году снимают урожай апельсинов. Она дивилась, ахала. «Апельсинов с тобой наедемся до отвала!» — кричал он, а потом сгибался в три погибели и кашлял — надсадно, страшно. И кровь текла по его подбородку. И он утирал

ее ладонью и страшно ругался. И Вера шептала: «Ты же бывший монах и будущий тоже, тебе нельзя так скверно выражаться».

Алешенька брал ее руку в свои обе и погружал лицо свое в ее ладонь, как в теплую воду.

И так сидел, долго, не шевелясь.

Дни протекли, время отбило склянки стеклянным ледяным прибором. В назначенное время прибыли они оба в одесский порт, там уже у пристани стоял громадный, как айсберг, паром, и по трапу на него всходили люди, и веселые и грустные. Веселые люди говорили громко, шумели, восклицали, обнимались. Грустные люди молчали.

Вера и Алешенька перешли по трапу с пристани на паром, его покачивало на волнах. Веру замутило. Она смущенно посмотрела на Алешеньку.

— Меня тошнит.

— Ничего! — Алешенька поправлял лямки рюкзака на одном плече, на другом. — С Божьей помощью!

— Это хуже, чем самолет, я чувствую.

— Море, матушка, море...

Их несло вверх и вперед в толпе пассажиров, у Веры было чувство, что случилась революция, восстание или же война, и всех зовут собирать ополчение, и всем надо быстро сбиться в строй и дружно, гневно идти на врага, а где враг, не знает никто, — Алешенька тянул ее за руку и все повторял: «Вера, у нас четырехместная каюта, это же просто роскошь, курорт с видом на море, мы будем видеть море, Верчик, будем видеть воду и солнце!» — они шли по коридорам и переходам, между сдвинутых стульев и между тесно прижатых друг машин, и искали номер каюты, и наконец нашли, но располагаться там не стали: «Еще успеем налегаться!.. пошли море смотреть, и как отплываем!..» — и паром медленно, тяжело отвалил от пристани, переваливался на волнах, как чудовищная железная утка, волнение усиливалось, ветер дул с северо-востока, продувал насквозь, выдувал из людей все тепло, и Вера пряталась за тщедушного Алешеньку, а он обнимал ее, от ветра и холода спасая. Брызги летели в лицо, и Вера слизывала с губ соль.

Они оба смотрели на угрюмое море.

— Как бы бора не началась, — пробормотал Алешенька.

— Что? — не поняла Вера.

— Бора. Ветер такой. Сильный, ледяной. Паром обледенеет. И его может перевернуть. Вера нервно засмеялась.

— Знаешь что, не пугай меня! Я пуганая.

— Да. Стреляная ты воробыха.

Взялись за руки, как дети. Так стояли, обдуваемые ветром.

Паром набирал ход.

— Ты есть хочешь?

— Не особенно. Я бы выпил.

— Губа не дура.

— Я и сам не дурак.

— Холодно? Может, в каюту пойдем?

— А давай еще немного постоим? Ветер такой... свежий...

* * *

Они оба не поняли, когда начался настоящий шторм.

Бора налетела быстро, никто и пикнуть не успел. Море вспучилось, темная зеленая вода вспыхивала зловеще, оживала взорванным малахитом, волны накрывали одна

другую и рушились на палубы парома. Громадный и царственный возле пристани, в порту, он немедленно сделался белой нищей скорлупкой посреди безумия соли, ветра и льда. Релинги мгновенно обледенели. С капитанского мостика разнесся зычный ор, усиленный мегафоном: «Всем уйти с палубы в каюты! Всем быстро в каюты! Держитесь за релинги! Держитесь...» Голос оборвался. Гул ветра заглушал крики людей. Паром раскачивало так, что Вера подумала: «Сейчас, вот сейчас перевернемся!» Они еще держались за руки, когда огромная, с целый дом, волна накрыла их.

Вере удалось уцепиться за железный выступ. Бешеная вода оторвала Алешеньку от нее и потащила вниз, все вниз и вниз по наклоненной палубе. Он катился все вниз и вниз, и пучина уже была под ним, темно светилась рядом, и Вера, сцепив зубы, видела, как он скатился в море, — волна смысла его с палубы, быстро и просто, смерть выглядела очень просто, как всегда и везде: вода, и ветер, и назначенный срок. Вера смотрела, как Алешенька скользит все вниз и вниз, как палуба все круче наклоняется, кренится страшным последним креном, и вот уже человек бьется в волнах, еще ударяет руками, ладонями по соленой бешеной влаге, ловит соленую воду ртом, он еще пытается плыть, да вода слишком холодна, в такой долго не продержишься, — не проживешь. Алешенькина голова моталась над водой. Вера глядела, как он умирает: то погружается в воду, то всплывает опять, живой поплавок, — опять тонет. Вынырнул опять! Она поймала глазами его глаза. А он — ее. Он смотрел на нее безотрывно, смотрел навек. Навсегда. Он кричал ей глазами: не забудь меня! Не забудь! Прости хоть ты меня! Прости!

Его рот дрогнул, губы раскрылись, он закричал, Вера по губам его прочитала: «Вера!» Он звал ее. Сейчас он нырнет и больше не вынырнет. Она схватила зрачками его последний взгляд. Он странно высветился последней, яростной радостью. Будто он встал за столом, за мощным пиршеством, и поднял над роскошью жизни бокал, этот свой любимый одесский коньяк, пять звездочек, и заорал: «За жизнь!» И Верины глаза вспыхнули, они вспыхнули слезами и ужасом, но она не видела этого. Зеркала же не было рядом. Не моталось никакое зеркало перед лицом. Мотались, и прыгали, и сшибались, и разлетались, как зеленые камни, волны. Орал с верхней палубы все тот же гулкий голос. Навалилась волна, окатила Веру с головы до ног слезами и солью. Море плакало и ярилось. Голову Алешеньки захлестнула вода, она еще мелькнула, дернулась, поторчала живым поплавком и исчезла. Вера вцепилась в крашеную железяку другой рукой. Обеими руками держалась за железо. За жизнь.

* * *

Не помнила, как буря утихла. Бора, дикая зверица, перестала терзать ледяными когтями зеленую шкуру моря. А ветер все не умирал. Вера, как привидение, пробралась в каюту. Там уже дрожали, сидя на жесткой койке, как воробьи на стрехе, плотно прижавшись друг к дружке, два парня, юные, почти подростки — а просто, должно быть, зверски худые. Они были очень похожи. Братья, видать. Светлые кудри вокруг тощих, с впалыми щеками, остроугольных лиц. И глаза ледяные, прозрачные, дно видно, зрачки будто режут тебя ножами.

Вера уселась напротив. Юнцы не заговаривали с ней. Они дрожали и молчали. Глядя на них, начала дрожать и Вера. Паром беспощадно, жестоко мотало на волнах. До штиля было еще далеко. В животе у Веры заурчало. Она вспомнила тот кофе в кафетерии и тот крепкий, царапающий глотку, как наждак, одесский коньяк. Ее одновременно и тошнило, и есть она хотела, и плакать, слезы уже лились, она их не вытирала, и сквозь слезы все смотрела, прямо смотрела в лица этим братьям, должно, близнецам, что сидели напротив.

Один из братьев не выдержал первым.

— Вам плохо?

Вера сплела пальцы на коленях. Удерживала внутри себя дурноту.

— Нет. Нормально.

Другой юноша вынул из кармана джинсов железную коробочку. В ней лежали пересыпанные сахарным песком, аккуратно нарезанные лимонные дольки.

— Возьмите. Пососите. Лимон помогает.

Оба парня говорили по-русски с акцентом.

Вера осторожно, как живого жука, взяла двумя пальцами из коробочки кусок лимона, засунула в рот, сосала. Кислота бросилась ей в голову, не хуже коньяка.

— Спасибо.

— Прошоме, — ответил первый отрок.

Вера долго не думала.

— Вы русские?

— Литовцы, — сказал второй.

— В Израиль... — хотела спросить: «на ПМЖ», да смех сквозь слезы ее разобрал. —

В гости?

— Vīsiems laikams, — сказал первый. — Навсегда.

Вера проглотила лимон. Он рыбкой проскользнул по ее потрохам.

— У вас там... родители?

— Никого, — сказал второй. Воткнул пятерню в растрепанные светлые кудри. — Но нас встретят.

— У нас там, — сказал первый, — эклесия.

— Что? — спросила Вера. — Кто?

Во рту было кисло. Тошнота отступила.

А может, просто море разгладилось под серым утюгом неба.

— Эклесия, — настойчиво, терпеливо повторил первый. — Цер-ковь.

Вера вспыхнула. Ощутила себя девчонкой, ребенком несмысленным; и вроде как ее за ручку ведут во храм, а она не знает, что такое храм, и что у него внутри, и как там надо себя вести, жарко там или холодно, и горят ли свечи, и все ли там прощают, все ли грехи.

— Православная?

Второй улыбнулся. Зубы во рту у него стояли кривым частоколом, как кривой, покосившийся забор.

— Не-е-е-ет. Нет-нет! Это не наше. Это — чужое. У нас — своя.

Первый вытянул шею, как гусь:

— Да! У нас — истинная. Наш владыка — наместник Бога на земле! О нем мало кто знает, но придет время, и все узнают!

Перекрестился странно: обе руки сначала положил на лоб, потом на живот, потом развел в стороны, потом прижал к сердцу. И так сидел, блаженно закрыв глаза.

— О нем уже тысячи знают, — сладким голосом выпел второй мальчик. — Миллионы! О Блаженном Андрее! Он незримо летает над землей и приходят к людям, невидимый, и сердцем их благословляет! Он — благовестник! Он несет великую любовь! Превышенебесную! Он — помазанник!

— И помазует всех нас, грешных, — первый сидел, все так же закрыв глаза, — сей любовью, как святым миром из золотого сосуда...

Во рту Веры стояла кислятина. Она дернула мокрым подбородком. Скосила глаза в иллюминатор: море укладывалось длинными, спокойными зелено-болотными пластами. Выглянуло солнце. Залило водный простор веселым изумрудным свечением.

Как и не было бури и смерти.

Слезы все лились и текли ей в рот. Она глотала их, как лимонный сок.

— Вы плачете? — участливо спросил второй юноша. — Чем помочь?

— Ничем, — шмыгнула носом Вера и утерла лицо ладонью. — У меня погиб... — она не постеснялась вранья, — муж.

Второй открыл глаза.

— Как?! Вот сейчас? В шторм?

— Его смыла с палубы волна, — с трудом сказала Вера.

Оба подростка поднялись. Потом опустились на колени. Так же странно, широко, смешно, будто обнимали кого-то после долгой разлуки, обеими руками перекрестясь, запели:

Блаженный Андрей, святой апостол грешной земли!

Приди, возлюби, исцели!

Святое солнце во тьме, апостол Андрей!

Прими в объятия ты грешную душу скорей!

Вера хотела им подпеть и не смогла. Горло перехватило. Она задохнулась в слезах. Мальчики вскочили с колен, сняли с нее ранец и уложили ее на каютную койку, привинченную к стене громадными железными болтами. Она отвернулась к стене и так лежала, молча, с мокрыми щеками.

ХОЖДЕНИЕ ВТОРОЕ. МОНАХИНЯ

<...> Она прибыла с монахинями в монастырь, глядела широко и туманно, все ей было в диво, всего она пугалась, всему изумлялась, всего стеснялась. Монахини подвели ее к матушке игуменье: «Это матушка Мисаила, ниже кланяйся, ниже!» Вера на всякий случай поклонилась матушке Мисаиле земным поклоном. Древняя, вся изморщенная старуха, с каменно-суровым, туго обтянутым черным апостольником твердым лицом, молча, грозно благословила Веру. Погляделась в Веру, как в зеркало. У Веры губы в нитку сведены, и у старухи тоже. Только у Веры впалые щеки гладкие, а у старухи будто изрезанные острым скальпелем, в рубцах и шрамах времени. Старуху увели под руки. Монахини шептали: «Скоро ей девяносто пять лет, у нее всю семью при Сталине расстреляли, она блокаду пережила, ленинградка, здесь уже полвека или даже больше. Святая!» Вера подумала: «Да здесь все свято, куда ни плюнь». Сама себя одернула: «Куда ни глянь».

Молоденькая монашка нежно, будто бы Вера была смертельно больная и надо было срочно вести ее на операцию, взяла ее за руку и потянула за собой. Вера покорно пошла за ней, семена, как балерина. Ее привели в пустую комнату; в комнате не было ничего, кроме приземистого сундука, и потолок низко висел, давил затылок. «Как в бочке тут, и я соленый огурец». Вера устало присела на край сундука. Монашка улыбнулась ей, как ребенку.

— Вы впервые в Иерусалиме?

— Да.

— Отдыхайте! Вы утомились.

— Да.

— Откуда добирались? Из Болгарии? С Украины? Из России?

— Из Одессы, — сказала Вера, и слезы снова залили ей раскосые глаза. — А до Одессы — из Сибири.

— Ой, как издалека! — воздела руки монашка. — Семь железных сапог износили!

— Нет, — сказала Вера и растерянно поглядела на свои ноги, — никаких... железных... вот кожаные — истрепались...

Монашка неизбежно, тоненько засмеялась.

— Вы потерпите. Сейчас сюда принесут постель. Будете спать на сундуке. Это келия сестры Феодоры. Она умерла позавчера ночью. Завтра будем хоронить.

Монашка сказала о смерти легко, и просто, и светло, будто о трапезе, о свадьбе или о крестинах. Вера содрогнулась. Опять рядом зазвучала скрипка, к ней добавила голос вторая, скрипки пели, как две женщины: одна высоким голосом, другая низким. Дверь открылась, и худенькая послушница внесла тонкий овечий матрац, верблюжье одеяло, свернутое в шерстяную трубу, и сложенное в прозрачный конверт белье. Через минуту сундук превратился в кровать. Улыбчивая монашка указала пальцем на ложе.

— Молиться с нами не пойдете? Спокойного вам вечера. И ночи тоже. Спите с Богом. Мы за вас помолимся.

Монашка повернулась, чтобы уйти. Вера схватила ее за руку.

— Стойте! — Ей почему-то страшно было остаться одной в этой голой комнате. — А куда мне завтра пойти?

— Как — куда? — Монашка глядела ласково. — Вам никуда не надо спешить. Поживете у нас. Постоите монастырские службы. Помолитесь с нами. Потрапезничаете. Разговоры будете с матерью Мисаилой разговаривать, она у нас много чего знает, вы не глядите, что она старая и молчит. Она даже поет! Русские песни! Да еще как, в полный голос! И на клиросе тоже поет вместе с нами. И апельсины весной сажает в саду! Весело тут у нас! Божья благодать!

— Да, — шептала Вера, — весело...

— А когда наживетесь, вот тогда по Иерусалиму и побредете! Перво-наперво пойдите на Виа Долороса.

— А что это?

— Это улица, по которой Иисуса вели на Распятие. Вы должны пройти Его Крестным путем! Я расскажу вам, как туда добраться. У нас еще будет время!

Вера поняла: времени у нее уже не будет.

— Я пойду туда завтра, — твердо сказала она.

— Завтра? — Светлая монашка опять забавно всплеснула руками. — Завтра! И не отдохнете как следует! Да куда вам торопиться!

— Я спешу, — сказала Вера еще тверже.

— Куда вы так спешите?..

Монашка все еще улыбалась. Вере захотелось смахнуть эту невесомую улыбку с ее лица, как дрожащую на ярком солнце стрекозу.

— Я жить спешу. Знаете, люди на моих глазах умирали. И я их провожала. У них, у каждого, была своя... эта улица, ну. И у меня тоже будет. Я хочу скорее ее увидеть.

* * *

Светлые, бледно-желтые, почти белые камни раскалились и прожигали Верины ноги даже через подошвы сандалий.

Сандалии ей дала игуменья Мисаила. И легкую кофту: «Накинь вместо своей, плотной, изжаришься ведь, сегодня такое солнце!» Солнце било сверху вниз копиями белых лучей. Вера уже узнала, что у нее именины — четырнадцатого октября, в самый этот Покров Богородицы. Монахини уже успели рассказать ей все про Виа Долороса: и про то, как Иисус шел по той мостовой и падал три раза, а последний раз упал, когда увидел Голгофу; и про то, что на пути Он встретил Матерь Свою; и про то, что Крест за него понес Симон Кириянин, ибо Иисус медленно шел, через силу, и еле-еле Крест

на спине волок, а злые воины спешили, с тоской посматривали, как на закат катится солнце, управиться поживей с казнью хотели. «Откуда улица начинается?» — спросила Вера. Ей объяснили. Она крепко держала в руке маленькую карту Иерусалима и все на нее смотрела: и когда ехала, и когда шла.

Виа Долороса — что это означает? Крестный Путь? Слезный Путь? Скорбный Путь? Зачем на земле столько языков, и все языки чешут по-разному, и люди разных народов друг друга не понимают, и плачут и смеются, пытаясь правду сказать, и жестами показывают слова свои, и у них не получается ничего? Вера стояла на выжженных до белизны камнях, камни отдавали ей тепло, она шурилась от солнца, приставляла ладонь ко лбу и глядела из-под руки на каменные арки, на древние лестницы и стрельчатые окна, а небо синим вином лилось ей на платок. Монашки дали ей от солнца белый апостольник; она повязала его вокруг головы, как белый плат сестры милосердия, завязав на затылке толстый узел.

Вера морщила лоб. Тыкала пальцем в карту. Ей сказали: здесь, вот здесь Христа приговорили к ужасной казни.

Она вспомнила слова из Евангелия. Ей даже не нужно было лезть в ранец, и вынимать его, и находить это место в Евангелии от Иоанна, где они были написаны. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его!»

— Распни... распни Его!

Воздух сгустился, ветки ближнего дерева отчаянно мотались на жарком ветру, и будто бы рядом тикали, как опасная бомба, незримые часы.

— Распни, распни Его!.. Распни... распни Его...

Вера повторяла и повторяла эти слова, а они все не отвязывались от нее.

Она медленно пошла вперед до улице. Вот здесь Его бичевали, свистели в воздухе плетки, глумились и скалились солдаты, кричали: «Царь Иудейский! радуйся!» — и били Его по щекам, и плевали Ему в лицо, в глаза. Потом Его бросили в темницу. Он всю ночь сидел на каменной холодной скамье. О чем Он думал? Он плакал. Истекал кровью. Никаким вином не была тогда эта кровь, никаким хлебом — Его плоть; раны горели, рубцы вспухали, Он понимал: завтра будет еще хуже. Еще больше.

У Веры заболели руки, ноги. Будто ее самое избили, и она еле тащилась, окровавленная, по горячим камням. В сандалиях, а будто босиком; и на камнях — кровавые следы. Вот здесь Он упал! Зачем Он упал? Почему? Солдат ударил Его. Он не устоял на ногах. А может, просто солнце сильно припекло. Боль от ран стала невыносимой. Ад! Он близко. Ад — это и есть земля. Наша земля. Такая красивая! А люди на ней такие злые. И землю бичуют. И зверей на ней убивают: стаями, стадами. И сами себя убивают. Люди — людей.

— Люди людей убивают, а нам и телят не велят...

Ее губы шевелились через силу. Пить! Она хотела пить. А римские воины не давали ей пить. Всюду церкви, храмы! Часовни! Понастроили... да, память, чтобы помнить... Кто вспомнит о ней? Кто о ней заплачет?

Ну да, да, просто вот о ней, о Сургут Вере Емельяновне, какого года рождения, какой адрес, какой там город, да разве это так важно для памяти, все это чепуха, все приметы нашей малюсенькой жизни, червяком малым сворачивается она у ног на лютой жаре, и идут ноги, и босые, пропыленные, и в сандалиях, а потом опять голые, без врезающихся в щиколотки узких телячьих ремней, и ранят стопы острые камни, и здесь, да, вот здесь останавливается Спаситель, потому что из толпы на Него глядит женщина, и Он слишком хорошо ее знает, ведь это — Его мать.

— А ты, ты ничья не мать... никогда никого не родила... ни Бога... ни черта... ни человека!.. уж человека-то хотя бы постаралась... попыталась...

Затылок пылал под апостольником, Вера вся разжарилась, распухла, порозовела и посмуглела, как беляш на сковороде. Сорвала с себя апостольник и им вытерла лоб, лицо и шею. Потом опять накинула на голову белый кусок легкой ткани; так стояла. Чувствовала и даже слушала бешеное солнце.

На стене серого дома висели огромные пестрые ковры. Узоры на них вились одинаковые: круги, будто великанские клумбы, а внутри кругов еще круги, и так до самого крохотного круга, до центра. Ковры висели на петлях, а петли были накинута на гвозди чудовищной величины, вбитые в щели между громадными блоками известняка. «Вот такими гвоздями прибывали ко Кресту Христа».

Вера ту же затянула концы апостольника на потном затылке.

Интересно, сколько стоят такие ковры? Как турецкие... а может, и правда мусульманские...

«В Иерусалиме ведь разные народы живут... не только евреи... и арабы, и турки, и... а русские живут?.. Русские — везде живут... Значит, разные боги тут... и как не передерутся... мечеть — с Христом, а католики — с Аллахом... а с ними со всеми — этот, как его, у евреев главный... имя забыла...»

Она подошла к бессильно, мертвой шкуркой, висящему на древних страшных гвоздях коври, пощупала его, помяла в пальцах. Погладила ворс.

— Красивый какой, — вслух сказала.

Торговец услышал.

На диком, вусмерть ломаном русском языке завопил:

— Гразив шеншин! Шеншин, даме! Ковере гразив, та! Ошен гразив! Губит, губит пошалта! Губит!

Вера с трудом уразумела: «губит» — значит «купить».

«Меня просят купить ковер. Но ведь у меня денег... а сколько у меня денег?.. я и сама не знаю... На обратный билет?.. когда?..»

— У меня денег нет, — просто сказала.

Усмехнулась. Развела руками.

Торговец закричал гортанно и тонко:

— Тэнг?! Тэнг?! Эсь в даме тэнг! Эсь! Эсь, йа знат!

— Какой упрямый, — шептала Вера, — прости Господи...

Свела брови и отступила на шаг. <...>

* * *

...из-за угла вышла женщина. Долго глядела Вере вслед.

...глядела так, что Вера вздрогнула и чуть не обернулась...

...но не обернулась, все так же шла вперед...

...слишком, страшно похожа, одна кровь, одно лицо...

...на ее губы легла чужая ладонь. Она пахла гвоздикой. Пряно и страшно. Ее потащили, заламывая за спину руки, выворачивая в кистях, чтобы она не могла сопротивляться. В рот всунули тряпку. Она пыталась вытолкнуть ее языком. Ей заклеили рот скотчем, он больно стягивал кожу щек. Глаза завязали черной повязкой. Волкли. Слишком раннее утро. Слишком розовое, туманное небо. Еще слабое солнце, льется нежным молоком. Вера пыталась отбиваться ногами. Ее схватили за ноги и под мышки. Так несли. Быстро внесли в дом, в темноту; в незнакомых руках она билась крупной рыбой. Енисей! Какой Енисей, дура. Ты не спишь. Это не сон. Ты просто добыча. Человек запросто становится добычей. Люди охотятся на людей. Они охотятся сами на себя.

Вокруг нее поднялись, заклекотали голоса. Они кричали по-птичьи, по-зверьи, и было непонятно ей, где она, у людей ли; она нюхала воздух, стремясь ощутить запаха зверинца. Глаза не видели, а тело видело. Оно видело тесноту логова. Ловкая рука задрала, закатала ей рукав. Она быстро поняла, что будет. Крикнуть нельзя было. Убежать нельзя. Нельзя ничего. А можно — все. Им. Она не почувствовала укола. Тепло разлилось. Оно текло и разливалось везде, по всему миру, видимому и невидимому. К черту тепло! Я хочу холода! Я снега хочу! И наросшего, налипшего на релинги катера январского льда! Мохнатого, застылыми потеками, льда, его белых, звонко-прозрачных гребней, его зубьев, диких холодных зубов, они впиваются в живую кожу, в мясо, во все живое, а живого мало, слишком мало, чтобы ему можно было стать бессмертным.

Забытье навалилось и подмяло под себя. Она подчинилась забытью, другого выхода не было. Забытье росло в ней, над ней и разрослось так, что она стала им самим. Веры больше не было. Была белая масса тумана, и чужие руки, и биение бубна в висках, и плотная густая тьма, черные сливки, а через мгновение — черный расплавленный свинец, заливающий распяленную, беззвучно орущую глотку. Вместо глаз зияли дыры. Дырами нельзя было глядеть. Ими можно было только проклинать. Когда Вере довелось вынырнуть из забытья, она поймала за хвост, за жабры скользкую мысль; мысль эта была о том, что не надо сопротивляться, бороться не надо. Все равно все умрем.

«Все равно все умрем», — вышптала Вера сама себе, но шепота не получилось, она только вообразила себе его. Извне донесся гул. Чужая речь билась и утекала. Звучки сшибались и разлетались. Она не понимала ничего. Русских тут не было. А кто? Евреи? Арабы? А может, чернокожие? Пахло потом. Она ничего не видела, но почувствовала всей кожей, как над ней наклонилось чужое тело. Человек наверху, высоко, скрежетал словами, брызгал на нее сверху вниз горячей слюной. Отошел. Вера пошевелила руками, ногами. Развязаны. Это меняло дело. Можно было убежать, но бежать она не могла.

Гортанный клекот раздавался справа, слева. Может, ее хотели сделать грешницей в задымленном, грязном борделе. А может, мечтали привязать ей к животу взрывчатку, и чтобы она пошла и взорвала ресторан. Или детский сад. Или вокзал. Или рынок. Мало ли что шахидке можно взорвать. И самой сдохнуть. А может, ее хотели обучить воровскому ремеслу и засылать в дома к богатым, и чтобы умело, ловко и бесшумно она отмыкала сейф, и похищала ценные бумаги, и исчезала неслышной тенью.

А может, ее хотели просто изнасиловать. Все подряд. Разломить, как цыпленка табака на железном блюде. И сгрызть мясо. И косточки обсосать. И кинуть собакам.

Что можно сделать человеку с человеком? Да все что угодно. Угодно тому, кто сильнее. Их много, а Вера одна.

Она выгнула позвоночник, пыталась встать. Ее уронили на пол ударом ноги. Она валялась на полу, каменные плиты холодили ей спину и ноги. Ей удалось открыть глаза. Забытье с неохотой, медленно покидало ее. Небритый мужик с подбитым глазом низко наклонился над ней и что-то на чужом языке грубо, зло спросил ее. Она глядела ему глаза в глаза и молчала. Тогда мужик размахнулся и крепко ударил ее кулаком по лицу. А потом выпрямился и ударил ее ногой в бок. В ребра. А потом в живот. И еще раз, и еще раз.

Мужик бил Веру ногами, у нее не было даже сил кричать, она стонала глухо и гулко; потом он пинком перевернул ее со спины на живот. Теперь холодный камень был под щекой. Она лежала щекой на камне, из ее рта вытекала кровь и лужей расплывалась под ее лицом. Мужик выбил ей зуб.

Она зажмурилась, глотала кровь и плакала без слез. Слезы исчезли. А боль осталась.

Из каменной западни, где она ничком лежала на холодном полу, исчезли люди: постепенно или сразу, она не поняла. Стало тихо. Она слушала тишину.

<...>

— О-э-о! Э-э-э-эй! О-о!

Ключ затрещал в замке. Дверь резко отбросили вбок. На пороге стоял ее второй стражник. Ухмылялся. В руке у него сиял карманный фонарь, в его дрожащем свете Вера видела румяное, скуластое, жирно блестящее, обкрученное черным бархатом борода чужое лицо. Вера, ни о чем не думая, с пустой, как сушеная тыква, головой взбрехала пистолет и уже уверенно, сильно нажала на спусковой крючок; и он поддался уже легче, быстрее. Выстрел прозвучал оглушительно под тяжелыми, низко нависшими сводами. Источенные веками колонны уходили вдаль потусторонней анфиладой, осыпались сухим печеньем, старой мацой. Вера огляделась быстро, как зверек, которого травят охотники. Коридор, и окон нет, может, подвал, а может, окна забиты. Бежать! Только что она убила двух людей. И на душе у нее два страшных, смертных греха.

«Я спасаю свою жизнь! Свою!»

Она раскрыла ранец и сунула туда краденый пистолет.

Он упал на дно ранца рядом с Евангелием. <...>

* * *

<...> Мир был един, прошлый и будущий. Апостолы собирались под крышами заметенных изб. Жгли длинные толстые свечи. Ели жареную рыбу. Пели псалмы, и из бородатых, усатых уст звучала все та же огненная Псалтырь. И все тот же огонь бился в раскрытой чугунной дверце печи. На Лысой горе сиротливо упирались в небо голые кресты. Христос лежал в могиле. Не было надежды. Упования не было. Оставались только слезы, они бесконечно струились. И Мать их не утирала. И девушка с рыжими косами все жарила, жарила свежевывловленную усатую рыбу на громадной черной сковороде. По бокам рыбы бежали страшные костяные узоры. Масло шипело. Рыбий глаз белел жареным жемчугом. Ученик, самый юный, ломал на блюде круглый хлеб, пальцы его дрожали, лицо было все мокрое, и слезы капали на дощатый стол. Рыжекосая ту же утягивала завязки фартука. Мать, в черном, строго сидела на закраине стола. Перед Ней в миске лежал, выгнув бок, большой жареный лещ, и иглы ребер торчали из белого сочного мяса. Мать глядела на рыбу, на мертвую рыбу. И все так же, беспрерывным потоком, соль слез текла по ее впалым щекам.

Все жило, и все было живо. Никуда не уходило. Длилось. Бред соединял жаром и слезами дым, и огонь, и блеск людских глаз. Рыжая накинула на плечи овечий тулуп, всунула ноги в лапти и, заливаясь слезами, побрела куда глаза глядят. Над нею диким яростным шатром, переливающимся и алмазно-цветным, расстелилось полночное небо. Рыжая шла и шла по снегу, ветер вил ее косы, они на ветру расплетались, и сушил ветер ее мокрые скулы, на лету, на бегу стирая слезы жесткой степной холстиной. Ночь восставала, и поднималась с земли, и уходила вверх. Все вверх и вверх. Рыжая подняла лицо к звездам. Звезды, о звезды, шептала она, неужели и я к вам однажды уйду! Ей голос нашептывал: не к звездам ты уйдешь, а в землю, под снег и лед! А ветер гудел: не верь, только к нам и явишься, к ветру, солнцу и звездам, а больше ни к кому! Некуда тебе больше идти, кроме как в небо, потому что вера в тебе! А тот, кто без веры, так и правда в землю уйдет! И черви сожрут его.

Рыжая не понимала, что она уже пришла, ступая лаптями по наметенному за ночь снегу, на деревенское кладбище. Много тут дорогих людей лежало. С портретов на крестах люди смотрели. Бумажные цветы кресты обвивали, яркие венки резали глаза: вечная память, вечная любовь. Алые бумажные розы, белые махровые гвоздики,

бутоны цвета дешевой помады, акрихиновые жестяные листья. Ноги в лаптях шли, ноги сами видели все поперед глаз. Вот он, крест. Черный, чугунный. На кресте висит венок из бумажных белых роз, дожди и снега превратили их в мокрую мятую газету. Рыжая вспомнила, как Его хоронили. Как Мать бросилась грудью, животом на могилу, обнимала свежий холм, а Ее оттащили ученики и плакали вместе с Ней. Сейчас могилу занес снег. Белая насыпь, одна из многих здесь. Спит кладбище. И ее сюда положат, рядом с Ним, подумала рыжая; она сама попросила учеников, если она умрет от тоски по Нем, положить ее рядом.

Она стояла около снежного холма и смотрела на черный крест, ничего не видела от слез. Вдруг сбоку ощутила дуновение. Будто теплый ветер среди зимы подул. Обернулась быстрее молнии. Перед ней стоял Христос. Холщовый плащ Его вил ветер. Он улыбался. А в глазах Его тоже, как и у рыжей, стояли слезы.

Рыжая упала на колени и протянула к Нему руки.

— Учитель!

Слезы уже текли по Его лицу. Он прижал палец ко рту.

— Магдалина!

Она хотела обнять Его колени. Он отступил на шаг.

Его босые ноги вминались в снег.

— Нельзя Меня трогать! Я сейчас не из плоти, из огня. Испепелишься! Я еще не поднялся к Отцу Моему.

Рыжая глядела сквозь соленую пелену: и правда Он весь переливался огнем, испускал лучи, вспышки ходили по Нему, по телу и по одежде, гасли и снова рождались. Она с восторгом прижала руки к груди. Целовала Его глазами.

— Какое счастье! Ты — воскрес!

Улыбка Его из радости сделалась печалью.

— Я пока не знаю, счастье это или нет.

— Да! Счастье! Для всех — счастье!

— Для всех... — тихо повторил Он вслед за рыжекой.

Рыжая, не сводя с Него глаз, поднялась, скинула лапти, чтобы удобнее было бежать, и, восторженно, потрясенно оглядываясь на Него, побежала, все быстрее и быстрее, босиком по снегу, через все смиренное кладбище, через снега, сугробы и наледи, по тропе, обратно в избу, пробежит немного и опять оглянется — стоит ли, живой ли; Он все стоял и смотрел, как она бежит. Все меньше становилась Его фигура, все сильнее трепал ветер Его холщовую накидку, и рыжей казалось, это крылья развеваются у Него за спиной. Вот Он стал серым осетром, висящим на невидимой рыбацкой леске под звездами. Вот стал гусем, и крылья растопырены, и метель его заметает. Вот малым утенком, а утица потерялась, уковыляла далеко вперед, и Он один, и все больше становится не малым птенцом, а снежным холмом. Вот уже стал завьюженной могилой в полях; и никто не принесет бумажного бедного цветка, в снег не воткнет, чугунную лопасть креста проволочным стеблем не обвяжет. Вот растворился в белизне.

А Магдалина все бежала, задыхаясь, не бежала — летела, чтобы мужикам великую весть рассказать; и долетела до избы, и дверь толкнула, стукнула дверь, она ворвалась в тепло с мороза, снег падал с нее на деревянные плахи дожелта выскобленного пола и таял, она стояла, ловя ртом воздух, и апостолы, застыв над мисками с таинственной, древней жареной рыбой, усатой, как грозный полководец, строго глядели на нее.

— Что ты? — спросил белобородый морщинистый Петр, светясь огромной лысиной в мерцании лампад. — Бежала? Запыхалась? Тебя никто в ночи ножом не напугал? Садись вечерять!

Рыжая стояла, не шелохнулась. Улыбка возшла на ее лицо и осветила избу, темные углы, кота на печке, рыболовецкие снасти на сундуке, лица людей за столом.

— Он воскрес, — сказала она просто.
И никто не удивился.
И все замолчали.
И каждый молчал о своем.

* * *

Долго пребывала Вера в забытии; и за ней ухаживали, пока она лежала в болезни, все, по очереди, монахини Горненского монастыря в Эйн-Кареме во Иерусалиме; и настал день, когда Вера открыла глаза. Все, кто в это время был при ней, опустили на колени, и помолились, и возблагодарили Господа за исцеление болящей.

Ей тут же поднесли по ее просьбе ее Евангелие, что мирно лежало на столе в ее келье и ждало, когда его владелица очнется от сумрачного потаенного сна.

Вере развернули Евангелие, открыв его, опять же по ее тихой просьбе, на особо любимых ею страницах. Перелистали желтую старую бумагу, чьи углы, истончившись, уже осыпались под пальцами, как пыльца с крыльев бабочки. Две монахини стояли и держали перед лицом Веры Евангелие: сестра Васса и престарелая сестра Елисавета, уже собиравшаяся в дорогу к Богу. Они держали книгу, а Вера читала, и губы ее с трудом шевелились, и голос еле доносился до монахинь, но все же слова различали они.

«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна».

Так прочитала Вера и жестом показала, чтобы Священную Книгу убрали от ее глаз. Монахини сделали это. Вера сказала им:

— Вот читаю буквы и слова, а будто бы я все слова позабыла. И звучат они мне, как в первый раз. Как свежий снег летит мне в лицо. И читаю вслух, а будто бы это не я, а голос со стороны слышу. С небес. Скажите, сестры, верно ли это? И как меня зовут, сестры? Я имя свое забыла.

— Тебя звали Вера, — отвечали ей монахини, — и если будешь принимать иночество, то, верней всего, Верой же тебя и нарекут в монашестве. Потому что это хорошее имя, правильное для монахини имя. Без веры мы никуда. Поэтому пребудь Верой! Помни, принявшая обет живет уже не для себя, а для всех.

Вошла в келью игуменья Мисаила, тяжело переставляя старые ноги, и сказала, обращаясь к лежащей на постели Вере:

— Читай душеспасительные книги и повторяй великие молитвы. Без молитвы нет человека. И без Бога нет человека. Несчастен тот, в ком Бога нет. В ком не живет Бог, тот и дело свое делать по-божески не может; да, он делает его, но оно нечестиво и мгновенно, оно очень быстро умирает, вздохнуть не успеешь, а умерло уже. Учись, Вера, страху Божию! Страх Божий — не тот страх, который ест тебя изнутри. И всю изгрызть может, и в страх превратишься; это человеческий страх. А Божий — это когда ты от восторга трепещешь перед всякими Его делами и молишься: Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Повторяй, Вера, так и люби Бога, Создателя своего!

Вера закрыла глаза и медленно перекрестилась. А мать игуменья торжественно перекрестила ее издали, стоя при дверях. А потом подошла близко к ее ложу, наклонилась над Верой, еще раз наложила на нее крестное знамение и поцеловала Веру в лоб. Сказала:

— Долго не залеживайся, очнулась, так вставай и к делам приступай! Много дела у человека на земле!

И встала Вера, и приступила ко множеству дел своих на земле. <...>

* * *

...Вере разрешали брать в палатку толстые фолианты из монастырской библиотеки. Она чаще всего утаскивала к себе в холщовую скинию три увесистых книжищи: Библию, Четьи-Минеи и Псалтырь.

Книги эти воздвигались для Веры дворцами величиной с гору, по ним можно было бродить, спать в них и бодрствовать; в них можно было жить.

Она и жила.

Однажды так сидела она в палатке с зажженным фонарем, с Библией на коленях. Книга была раскрыта на странице, где резво бежала старославянская вязь, плелась в кружевные узоры, — о святой героине Юдифи и о безумном тиране Олоферне. На гравиюре, рядом с черными, на желтой бумаге, буквами древнего языка, мерцала Юдифь — ступнями и ладонями из-под длинных одежд, широко открытыми, испуганными глазами; она, пятясь от застланного звериными шкурами царского ложа, волокла за волосы отрубленную голову.

Вера пристальней всмотрелась в фигуру женщины. А что если, спросила она себя, взять да и убить злого правителя, главного в мире царя, чтобы уберечься от войны? «Свято место пусто не бывает, — усмехнулась она сама над собой, — тут же на трон посадят другого. И еще злее». Мир слишком резко и больно стал делиться на добро и зло, и Вера все острее чувствовала это.

И где таится тот царь? Где прячется?

«Но ведь убийство — грех, грех... Значит, не всегда грех?..»

Тяжелющая книга давила на колени. Фонарь мигал. В отогнутую, зацепленную железным крючком полотняную дверь палатки налетал холодный ветер. Ближе к утру сухая земля подмерзала, и с туманных небес шел, как на родине, легкий сиротливый снег. Снег набивался холодной ватой в земные щели и впадины. Земля посверкивала под Луной, будто плат золотного шитья. Послышался шорох.

Вера вздернула голову.

Ветер играл, шуршал страницами старой Библии, ломкими, как печенье.

Женщина в черном приближалась к Вериной палатке. Вера подумала: монахиня. В прогал холщовой двери видела подол ее рясы и медленно ступающие ноги в разношенных башмаках. «Среди ночи идет меня проведать. Не замерзла ли я тут».

Монахиня подошла ближе, вот стояла уже возле палатки, и Вера захлопнула Библию, положила на матрац, встала и вышла под звезды. На ветер.

Вера смотрела на женщину.

Женщина смотрела на Веру.

У них было одно лицо.

Одно — на двоих.

Каждая из них гляделась в другую, как в зеркало.

Они стояли друг против друга, как на войне.

Под их ногами тускло вспыхивало старое серебро ночного снега, чеканными извилинами бежало по черной и рыжей, железной земле.

Вера миг замерзла. Дрожала.

«Опять. Опять она пришла. Я — к себе — пришла! Но я ли это?»

— Здравствуй, — сказала она сама себе.

«Я правильно сделала, что первая поздоровалась».

Ее отражение в зимнем зеркале без улыбки смотрело на нее.

Женщина разлепила губы.

— Здравствуй.

Стояли, молчали.

Потом Вера тихо, дрожа, сказала:

— Уходи.

И вот тут другая улыбнулась.

Содрогнулась Вера от этой улыбки.

— Ты думаешь, ты от меня убежишь? — спросила другая.

Вера попыталась ответить улыбкой на улыбку.

Не получилось.

— Я ничего не думаю.

Другая протянула вперед руки, и Вера отшатнулась.

Из рукавов рясы, как из двух земляных ям, высовывались руки с длинными ногтями, и земля набилась под ногти, а может, это кровь засохла.

Вера зажмурилась. Сложила пальцы для крестного знамения.

Стала подносить руку ко лбу, а поднести не может.

Рука такая тяжелая стала, прямо чугунная.

И тут другая засмеялась.

Она смеялась беззвучно и страшно. Скалила зубы.

— Что, — спросила Вера сквозь зубы, — а так, без крестного знамения, не уйдешь?

Изыди!

Другая перевернула руку ладонью вверх. По ладони медленно полз толстый белый червь. Он таял на глазах. Стек наземь водой, и другая вытерла ладонь о подол рясы.

Пока она руку вытирала, Вере удалось перекреститься.

Апостольник упал с головы другой, и в свете звезд и Луны сверкнула крохотная холодная серьга в бледной мочке уха.

— Изыди! — повторила Вера уже громче.

Другая глядела на Веру во все глаза.

«Да, я сама гляжу на себя; и я и есть диавол; и диавол, да, внутри нас, внутри каждого. Отрицаюсь сатаны и всех... деяний его...»

Верини губы слабо, жалко шевелились.

— Что, — спросила другая Вера тихо, — опять молишься? Все молишься и молишься? Хорошо тебе. Ты не знаешь, что будет с землей.

— Нет, знаю, — упрямо, тихо сказала Вера.

— Знаешь? Ну, что?

— Будет над землею Страшный суд, — шептала Вера. Ее чугунная рука кочергой висела вдоль тела. Ей казалось: разрыли ее могилу, и ее на посмеяние вынули из земли.

— Ха! Суд! — Другая уже смеялась в открытую. — Да это же я тот Суд и сделаю! Я! И никто другой!

— Как ты смеешь, — шептала Вера.

Другая смеялась во всю глотку, громко и нагло. Звезды снегом осыпались с небес.

— Смею!

— Есть ли ключ...

— Договаривай!

— Есть ли в небесах ключ от спасения? От нашего спасения?

— А! Пожелала спастись! Жить уж очень хочется! Да твоя жизнешка — маленькая, жалкая! Что тебе о ней печься! Все равно все умрем!

- От ухода ключ...
- От смерти, что ли?!
- От ухода нашего... всеобщего... от всеобщей... гибели мира...
- Ах, вот ты о чем!

Другая Вера оборвала смех. Ее лицо стало злым и уродливым.

Вера гляделась в кривое, злое зеркало. Не могла оторвать глаз.

- Да. Об этом о самом! Как нам спастись!

— Спасть? Разве вы не знаете? Вы же все знаете! Всезнайки! Каждый день твердите: бодрствуйте и молитесь! Молитесь! И ты думаешь, ваши молитвы вам помогут?!

Вера выпрямилась. Подняла лицо. Звезды стекали с зенита на ее затылок, кололи иглами ей щеки и лоб.

- Да! Если горячо молиться — Бог поможет! Бог тебя...

Теперь Вера протянула руку. Пальцем указывала на другую себя.

- Все равно одолеет...

От тела другой шел холод.

Все внутри Веры вымерзло.

Она была зимняя земля, и снег и лед набились ей в песчаные складки и каменные морщины.

И другая наступила на нее, на землю, злой ногой.

- Я одолею всех. Но плевать на всех! Я и тебя одолею. Это главное!

Вера перекрестилась еще раз. Это было очень трудно.

Рука наливалась лунной тяжестью.

Рука Луной катилась в смоляном небе, и не было ни конца ни краю тяжелому крестному знамению.

Другая отступила на шаг.

- А ты знаешь, кто я?!

- Да! — крикнула Вера.

Крик истаял в голых ветвях зимнего сада.

- Но ты не знаешь, что я с тобой сделаю!

- Ничего ты со мной не сделаешь, — сухими губами вышептывала Вера, — ничего...

Другая опять улыбнулась дико, страшно.

- Вот увидишь!

- А когда?

Голос Веры отлетал сухим листом.

- Так тебе все и открой!

- Зачем ты ходишь за мной? Что я тебе дала?!

- Ты...

И крикнула другая зычно, зверино, на весь тихий сад:

- Святая!

И столько было в этом крике презрения, ненависти и злобы, что Вера содрогнулась.

- Я не святая, — сказала Вера. — Я — грешница!

Пот тек по ее лицу, как слезы.

- Ты знаешь будущее!

- Не знаю!

- Не ври! Знаешь! А люди знать его не должны! Песни им поешь!

- Я — сама себе пою!

— А люди все равно слышат! Я все равно убью вас всех! Натравлю людей друг на друга!

- Не убьешь.

- Убью! И землю убью! И тебя!

— Меня, — шептала Вера, — меня... не убьешь... Ты — это я!
 — Да! Я — это ты! Только без твоего сердца! Я тоже вижу все! Как и ты! Но мое сердце не бьется! Оно железное.

Вера подняла руку и тяжело, медленно перекрестилась в третий раз.

А потом поднесла щепоть к сердцу и медленно перекрестила его — под ночной, холодной рясой.

И другая — отступила.

И еще на шаг. И еще. И еще.

— Я приду за тобой. Когда, не узнаешь!

Вера глядела на себя широко открытыми глазами.

Положила ладонь на грудь, чтобы слышать биение сердца.

Ее сердце билось больно, горячо. Толкалось в ладонь. Жило.

Еще живое.

— Узнаю!

— Нет! Ты только про других все знаешь! Про меня — не узнаешь ничего!

И крикнула презрительно, визгливо:

— Ведь ты же не смотришь в зеркало!

Пятилась. Уходила.

Вера глядела себе вслед.

Бледное лицо над черной рясой таяло в морозной ночи.

Сухие листья валились с ветвей, шептались под ногами.

— Имя! — бессильно крикнула Вера уходящей. — Назови свое имя!

И далеко, как с того света, до Веры донесся птичий клекот:

— Ты же знаешь его!

— Но тебя зовут не Вера!

Далекий призрачный, ночной смех был ей ответом.

Ночь вспыхивала и гасла в замерзших ветвях.

Снег мерцал на черном пепле земли славянской ли, арамейской вязью. <...>

* * *

После этой страшной незабвенной встречи в зимней ночи мать Вера стала больше молиться.

Она молилась и про себя, и шепотом, и вслух, громко, крестилась широко, со слезами и улыбкой, и клала поклоны, много поклонов — сто, пятьсот, тысячу, она уже не считала. К ней приходили люди, и она говорила: «Возвращайтесь домой, кто пропал, тот нашелся!» Люди шли домой и находили там отца, что давным-давно ушел из дома; сына, что малюткой потерялся на вокзале в суматохе переезда. Люди приходили, и она говорила: «Копайте за восточной стеной дома, и клад найдете!» Люди брали в руки лопаты, и разрывали землю возле дома, думали откопать горшок с золотом, а находили старинную икону, Божию Матерь Троеручицу, и крестились на нее, и шептали: «А может, сам живописец апостол Лука ее намалевал на святой доске». Ризы Богоматери отсвечивали темно-алым, вишневым, кровавым. «Я всеобщая мать, — шептала себе Вера, — деток своих уже никогда не сочту».

Вера молилась вслух, стоя на коленях у иконы Божией Матери Умиление, она знала, что ее особенно возлюбил преподобный Серафим Саровский, об этом ей матушка Мисаила сказала; она произносила слова, а слова чудились ей языками огня, огни лизали тьму вокруг нее и тьму внутри нее, и очищалась душа от скверны, а свет отделялся от мрака, и слова текли настоящей музыкой, и Вера, сама себе удивляясь, говорила, как пела:

— Господи! Ты знаешь все, что у нас в сердцах живых творится. Ты держишь на ладони Своей Вселенную, Вседержитель Ты, Пантократор! Царь Иудейский — так кричали тебе там, на площади, когда захотели Тебя распять. Но Ты давно уже Царь Земной и Небесный! Взгляни на нас на всех! Мы, все живые, есть Твой храм. Мы — кирпичи Твоего храма. Сложил Ты нас, уложил тесно, плотно, чтобы храм сей не разрушился вовеки. А есть люди, что не легли в плотную Твою кладку! Есть люди, что под стену храма Твоего себя кладут взрывчаткой! Летят в святые стены снарядами! Господи, прости им, ибо не ведают, что творят! Помоги им, как Ты помогаешь праведникам Своим! Устереги их, несчастных, от диавола. Диавол в людях сидит. Он живет внутри людей, как червь, и гложет их. Съедают людей гнев, месть, злоба, зависть, желание разрушить все Твое. Выедены люди уже изнутри диаволом. Господи Боже! Последний земной раз — помоги им! Помоги — нам! Крепко забинтуй наши раны. И диаволу — крепко руки веревкой свяжи! И ноги! Чтобы шагу он не шагнул! Ты, милосердный Господь наш, трудно Тебе, но возьми, Господи, возьми жизнь мою! Не нужна мне она без Тебя! Если нужна моя плоть, моя кровь для Тебя — бери их! Если душа моя понадобится тебе — возьми ее, да она и так Твоя! Ради одного святого имени Твоего я буду страдать, радоваться, жить. И умирать. Мне смерть не страшна с Тобой, Господи! Только восхитить меня в Град Небесный, в Небесный Свой Иерусалим, а не низвергни в ужас огня адского, гееннского!

Так молилась Вера. На другой день она по-иному молилась, и так множество молитв говорила, как пела, она. Сестра Васса подслушивала ее молитвы, застывала, внимая, как ледяная.

Множество молитв, как множество песен, звучало из ее уст. Она уже знала много святых молитв, но все равно пела свои.

Когда Вера ложилась спать, холодной зимой — на жесткое свое ложе в келье Вассы, перед ее закрытыми глазами ходили ходуном, волновались водой под ветром старые, больные картины. Серый, мятый холодными вихрями Енисей; старые скособо-ченные пристани на самой кромке каменистых берегов; горы, поросшие ельником и кедром, мохнатые, грозные, темные, выставяющие небу угрюмые каменные лбы. Гольцы, подпирающие небо. Кружева, они из-под коклюшек все текли и текли, из-под высохших, слабых и прозрачных, как лед, старых пальцев Анны Власьевны. А потом кружева за окном восставали до неба, радостно и безумно мела кружевная метель и заметала все, что видно, и все невидимое глазу: латунь старой посуды, старое медное, позеленелое распятие на сморщенной старой груди матери, старую рубаху отца — мать подносила ее к лицу, лицом утыкалась в нее, и плакала, и утирала себе щеки соленым ветхим, ситцевым комом. Жизнь на поверку оказывалась очень маленькой, такой маленькой, что не успеешь над ней и поплакать, а она исчезнет. Куда? Человека закопают. И она, Вера, стояла на кладбище. А душа? Куда уходит душа?

Где она гнездится после того, как переходит ледяной, каменный порог?

Не у Тебя ли, Господи, за пазухой?

«Я у Христа за пазухой, — шептала Вера себе, спев очередную молитву свою и поднимаясь с колен, — мне хорошо. Мне грех жаловаться». А родина все равно обнимала ее, тормошила, толкала ее в сердце холодным кулаком, и ломались железные, тюремные ребра от такой забытой, пылающей любви. Вера молилась и родине: в святой песне она плакала о ней.

И молитвы ее были похожи на песни; и песни ее были похожи на видения.

«Нашу Веру-то, сестры, посещают видения!» — нашептывала сестра Васса монахиням. Монахини головами качали. «А видения те от Бога? А то доподлинно известно? А как она сама отличает? Вот иеромонах Серафим Роуз...» И долго монахини обсуждали, что говорил про туманные видения иеромонах Серафим Роуз. Бес или ангел посылает их? О чем поет мать Вера ночами перед тускло освещенным киотом, пока мо-

нахины коротко, тревожно забываются сном перед ранней, еще зимний Орион в зените веретеном кружит, многозвездной службой? А вы, сестры, слова-то разбираете? А что если кто-то из нас будет за нею ходить да тайком записывать? Уж больно любопытно, что она там бормочет. Не бормочет, а поет, сестра!

А это одно и то же.

К матери Вере в монастырь стали приезжать из разных градов и весей не только простые люди, но славные-знаменитые. Когда ей сообщили, что один из великих земных владык прибыл в монастырь и хочет видеть ее, она смутилась, туже затянула на горле апостольник. «Ко мне приехал? А вы, часом, сестры, не ошиблись?»

Человек оказался как человек. Не лучше и не хуже других. Почему-то захотел вытереть ноги на пороге ее кельи, искал тряпку. Мать Вера низко поклонилась человеку. Пригласила сесть. «Это я должен вам предлагать сесть», — усмехнулся владыка. Он произнес это по-русски. Вера, прихрамывая, отошла от двери и села на табурет напротив. Келья обняла их обоих густой тишиной. Вера заговорила первой. Она спросила владыку: «Откуда вы так хорошо знаете русский язык?» Он улыбнулся. «Мой дед был родом из России. Он уехал в революцию. Ему исполнилось семнадцать лет в семнадцатом году. Он родился в Сибири, на Енисее». Кровь отлила от Вериного лица. «Где?» Владыка наморщил лоб. «В селе Под-те-со-во, кажется, это недалеко от Красноярска. Или я путаю?... не знаю?..» Вера смотрела на свои пальцы, на руки на коленях, они дрожали.

Потом они говорили долго, много. Без переводчика. Вера слушала владыку и думала: «Нельзя человеку без любви». Он очень высоко вознесен, и он один; и это самое страшное, одиночество на вершине. Владыка хотел, чтобы Вера сказала ему, что его ждет. «Я не гадалка. Бог запрещает магию, ворожбу. Молитесь, если вы веруете! Если не веруете — молитесь, чтобы уверовать. У нас только два пути к Богу. Третьего нет». Владыка хрустел пальцами. На безымянном у него поблескивал травяно-зеленый квадратный камень. Вера неотрывно глядела на перстень. У нее закружилась голова. Ей показалось, она с обрыва падает в холодный зимний Енисей и снег и лед плывут под слабыми ногами. Она раскинула руки, как крылья, и стала падать с табурета. Владыка подхватил ее, когда она перестала видеть мир.

...Очнулась оттого, что кто-то бил ее по щекам, и голос матушки Мисаилы донесся: «Очухалась!» Каплями отпоили, водой побрызгали, велели лечь и лежать, но Вера упрямо сидела на табурете, в сиденье крепко вцепилась и только спрашивала: «А он где? Где?» Ей сказали: владыка ушел с Богом. Васса обняла Веру за шею и шепнула: «Он оставил тебе подарок! Вон на столе коробочка! Мы не открывали!» Ой, еще как открывали, любопытные, беззлобно думала Вера. Пошатываясь, она поднялась с табурета, подошла к столу и взяла в руки коробочку. Открыла. Из черноты ей в лицо ударили зеленые лучи.

Кольцо владыки с африканским изумрудом Вера носить не стала. Монахиня она, да и перстенок велик, мужской же, сваливается с любого ее тощего пальца. Она поднесла изумруд игуменье. Мать Мисаила надела перстень на указательный палец, он у нее был толстый, как сосиска. Впору игуменье оказалось кольцо.

Матушка Мисаила носила его с гордостью и тем, к кому благоволила, весело рассказывала: «Это мне сам великий владыка подарил!»

Вера тихо улыбалась.

* * *

Богомазы иерусалимские малевали иконы и в дар приносили матери Вере. «Сегодня новодел, а завтра Чудотворная», — думала Вера. В келье со стен глядели Одигитрия и Богородица Владимирская, святой Пантелеймон Целитель и святые страсто-

терпцы царь Николай, царица Александра и расстрелянные дети их, четыре великие княжны и цесаревич. Смирненно глядели большими, черными глазами-озерами, и круглые веки, и круглые брови, и круги морщин на высоком лбу, святая Екатерина, святая Варвара и святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. И над кроватью висела икона мучениц за Христа Веры, Надежды, Любви и святой их матери Софии. Вера взглядывала на тонко намалеванную превосходным мастером икону, глядела на тоненькую, тополиную фигурку девочки Веры — выше всех она была из сестер, старше всех, ей уже исполнилось двенадцать. А Надежде десять, а Любви — девять. Раскаленные решетки! Били плетями, рвали тело клещами! Бросали в котел с кипящей смолой! Тело подвержено боли, а душа крепче железа. Вера Римская, святая мученица за Христа. Истлели твои косточки! А ты, мать Вера, ты-то за кого жизнь отдашь? За Бога своего?

Подолгу стояла Вера на коленях, молясь перед иконами, ловя зрачками и щеками их золотой теплый свет, и души всех людей, за кого она возносила молитвы, толпились над ней, клубились перед ней, и она чувствовала себя среди них, как в небе, среди облаков. Такое было не всякий раз на молитве, но когда приходило, она радовалась всем сердцем и понимала: земля и небо сплетены, и горе тому, кто над этим нагло и хитро смеется.

Она жалела презирающих и молилась за исполненных злобы.

Ее все спрашивали: не покинешь ли ты нас, мать Вера? не уедешь ли вдруг от нас? Нет, не уеду от вас, не покину вас, отвечала Вера, мне хорошо среди вас! А люди вокруг нее, ее бесчисленные гости, то умирали, то рождались, то женились и опять к ней приходили, чтобы она их благословила и помолилась за них. Вместе с монахинями и матерью Мисаилой она сподобилась увидеть и Патриарха Иерусалимского Феофила; она заглянула близко в глаза Патриарха и увидала там боязнь, мрак, ночь, страх и два желания: желание, чтобы скорее все земное кончилось, и желание, чтобы оно никогда не кончалось. Но ты же не канарейка, владыко, мысленно сказала она Патриарху, чтобы набросить на твою золотую клетку черный греческий платок! Патриарх Феофил благословил монахинь; каждая подходила под благословение с восторженным лицом, и только мать Вера подошла спокойно, чуть хромая, и губы ее были сурово сложены, и чуть раскосые, с сибиринкой, глаза в черных бессонных обводах, в окружьях вечной усталости, строго глядели над высокими восхолмьями скул. Патриарх вонзил в Веру острые лезвия зрачков и уже не вытаскивал. Вера положила правую руку на левую, по-русски сказала: «Благословите, владыко» — и согнула спину. Патриарх сказал ей что-то по-гречески, она не поняла. Рассердилась на себя. «Ни греческого, ни иврита, ни арабского, никакого другого языка не знаю, а еще в Иерусалиме живу! Лентяйка! Швабра сибирская!» Обругав себя мысленно, устыдилась. Прикоснулась к руке Патриарха губами. Ее губы были теплые, а рука Патриарха сухая, холодная, как осенняя, забытая в сарае вобла, в веснушках и в старческих смешных бородавках.

Каждую Пасху, в Страстную субботу, в храме Гроба Господня сам собою возжигался Благодатный Огонь. Вера видела это чудо. Видела, как раздевали Патриарха Феофила перед входом в Кувуклию, и он оставался в подризнике и епитрахили, беспомощнее младенца. Белый подризник горел снеговым сугробом, увалом над Енисеем, подернутым первым льдом. Во храме пахло медом и воском и было так жарко, что с людей тек пот ручьями. Люди ждали чуда, и Вера тоже ждала чуда. Она закрывала глаза и пыталась мыслями переселиться туда, во тьму, внутрь Кувуклии, и глядеть глазами Патриарха, и щупать воздух и мраморную плиту Гроба Господня старыми трясущимися руками. «Что он ощущает? Страх? Я бы тоже боялась. Говорят, он скинул с церковного трона прежнего Патриарха Иринея. В церкви тоже войны. И тут война! Зачем? Разве сама церковь — не любовь? Война — в мире, а любовь — в Боге. И тут тоже люди друг

друга топчут и бьют, и говорят, что во имя Бога. Где правда? Что есть правда? Вот он стоит там во тьме на коленях, владыка. И сейчас по мраморной плите потекут голубые звезды. Синие зерна чудесного света. Горящие капли, слезы. Может, это Его слезы? Все Васса так и рассказала, а ей другие сестры, а им армянин архиерей, что входил в Кувуклию. Патриарх поднесет к катящимся Божиим слезам ватку, и она загорится, затлеет, а тут и пук свечей подставят. Что это?!» Вера озиралась. По всему храму, там и сям, вспыхивали красные, синие и золотые молнии. Люди начали кричать. Высоко поднимать свечи белого воска. От раскрытой двери Кувуклии быстро стали передавать горячие свечи, связки свечей, огонь, он не шел по храму — бежал, летел, его хватали в кулаки, держали на ладонях, бросали в народ, в толпу. Огонь! Благодатный! Единственный! «Вот, Вера, ты катилась-катилась, живая кибитка, по земле да сюда, в Иерусалим, и докатилась. Как ты сподобилась?! А вот вышло же у тебя! Спасибо Анне Власьевне! Это я ее приказ исполнила. И надо же, Благодатный Огонь я вижу! И — в руке держу!» Она стояла, высоко поднимала пук свечей, а их, тонких и снежно-белых, в связке было ровно тридцать три, по числу лет Спасителя, и бешеный широкий огонь рвался вбок и вдаль, вырывался из ее руки, летел над головами во всю глотку кричащих прихожан, над радостным криком и над неслышным плачем, летел, рвался, обнимал лица и пальцы, гас и опять загорался, взрывался бессловесной яркой музыкой, эту музыку можно было видеть, не только слышать, и осязать, и даже целовать! Вера поднесла горящий пук свечей к лицу и окунула лицо в огонь. Водила огнем по щекам, по лбу, по подбородку, по зубам, блестящим в торжествующей широкой улыбке. Огонь не жет! Кажется, он даже пах — розой, нежным цветком, нет, диким шиповником! Вера смеялась во весь голос, гладила пламенем себе лицо и волосы. Держала над огнем ладонь. «Я ничего не чувствую! Никакой боли! Чудо! Огонь с небес! Из Небесного Града Иерусалима! Прямо оттуда! Там живет сейчас наш Господь! Господи! Спасибо Тебе! Ты — радость!» Люди кричали, молились и пели. Передавали друг другу огонь. Важно было передать друг другу огонь. Чтобы — жил. Чтобы — горел.

Вера оглядывалась: здесь, сейчас, при возжжении Благодатного Огня, никто не был одинок. Вот в длинном платье худая монахиня. На нее, Веру, похожа. Только много старше. Она кричит, как девчонка! Руки воздевает к темным, закопченным сводам храма! Медовое темное золото тучами надвигается на нее, время обращается в грозу и мечет молнии. Она пришла сюда одинокой, плачущей, ее бросил муж, и у нее умер ребенок. Никто не мог ее утешить. Только Бог! Его огонь — Его поцелуй! Вот старуха, она ехала сюда издалека, из далекой северной страны. Седая северянка, она погибает от жары. Все дети ее убиты на войне. Она давно и бесповоротно одна! А тут она — со всеми. И не только со всеми! Она — с Огнем. Золото Божьего костра! И все вокруг собрались, и руки греют, и смеются, и обнимаются. Вот бы все на всей земле так — обнялись! Ну что же вы не обнимаетесь! Обнимитесь!

«Обнимитесь!» — хотелось крикнуть Вере, и она зажимала себе рот ладонью, чтобы не завопить на весь храм. Она вдруг увидела себя со стороны, стояла сама перед собой, там, по другую сторону призрачного стекла, и глядела на себя: вот она Вера, апостольник ее сполз с затылка, волосы висят вдоль щек, глаза горят безумием радости, а рядом с ней смуглый потный араб, на плечах у него мальчишка сидит, и громко в бубен бьет, и хватает смуглого араба за мокрые кудрявые волосы, а по другую руку стоит дородная мадам, с ее толстого тела стекают блестящие атласные складки дорогого модного плаща, высокая могучая шея обкручена мутно-серыми жемчугами, жемчуга и в ушах, перламутр помады блестит, а из глаз соленым салютом сыплются, искрами разлетаются по щекам мелкие слезы: она плачет так щедро и неистово, что все лицо уже давно мокрое, и шелк плаща, и кружевной шарф, она просто заливается слезами, а за ней, в дымящейся тьме, мерцают лица, седые виски, золотые и синие

белки сумасшедше-счастливых глаз, золотятся и летят волосы, огонь хватается их рыжей лапой, из мрака светятся руки, вздрагивают, трепещут, это уж не руки, а крылья бабочки, крылья ангелов, — они все, эти люди, будто в зеркале стоят и смотрят на Веру, а Вера — на них и на себя. Никто не одинок! Все — со всеми и во всех!

Так почему же она одна стоит, против людей и себя самой, стоит и держит бешено горящую пасхальную свечу, слепленную из многих тонких свеч, так слеплен мир из многих людей, живых и ушедших душ, и смотрит, смотрит в это тусклое зеркало мира, где все пьяны без вина от счастья жить и быть в Боге и с Богом, — зачем ей это созерцание, она хочет быть в хороводе, в хоре, быть внутри! Не отъединяться! Кричать — со всеми! Петь — со всеми!

Вера выше подняла сноп свечей Страстной субботы, огонь из ее руки метнулся вверх, к темным, будто подземным, росписям храмового потолка, улетал умалишенной золотой птицей, и все никак не мог улететь, все еще был с ней, реял над ней. Она задрала голову. Нельзя смотреться в зеркало. Все, кто ушел в зазеркалье, умерли. Она одна жива. Нет! Она не одна. Все эти люди — они здесь, по эту сторону зеркала. Они отражаются друг в друге. Они отражаются в Боге. А Небесный Огонь отражает их.

Люди прыгали, пели и кричали, а Вера медленно опускалась перед ними на колени. Она все так же высоко держала руку с огнем. Не опускала.

* * *

<...> — Мать Вера, — дотронулась до ее локтя сестра Васса, — там к тебе... из России... женщина какая-то. Очень представительная. Одета так богато. Шуба у ней... из белых мехов... ну, сама увидишь... Ступай. Прими.

Вера прижала ладони к щекам. Так постояла немного, перевела после молитвы дух и, едва заметно хромая, пошла к дому, где жили монахини. День стоял солнечный, но холодный. Дул резкий северный ветер. Перед дверью в дом стояла высокая разряженная дама. Атласное платье мело монастырскую мостовую. На плечах дамы сиял в лучах солнца палантин из серебристых норок. Мех несчастных зверьков невыносимо искрился, резал глаза. Или это так сильно сверкало кольцо в меховом распахе, на груди у женщины? В теле, пышная, грудь высоко подымается, дышит часто и тяжело. Мать Вера заглянула в ее глаза и чуть не отшатнулась. В глазах роскошной дамы застыл черный ужас.

— Здравствуйте, — спокойно поклонилась Вера, — Господь с вами! Издалека к нам! Чаем вас напоили? Накормили?

— Да ну его, чай! — Голос у дамы оказался внезапно звучным, заполнил собой все солнечное пространство, и, казалось, голос этот слышали даже звонари на колокольне. — И к чему еда! Это все чепуха! Главное, я до вас добралась. Вы мне важнее всего! Я к вам — всю жизнь добиралась! И вот получилось!

От голоса царственной дамы звенело и дрожало все вокруг. Ветви деревьев бились. Камни трескались. Вере почудилось — от вибрации голоса у ее ног вспыхнул пламенем пук сухой травы.

— Какой голос у вас...

— Я певица! — сказала дама и улыбнулась. Улыбка у нее была вымученная, страдальческая; она будто плакала и так гримасничала. Жирно, щедро крашенные губы змеино кривились.

— Понятно...

— Ничего вам не понятно!

— Вы в опере поете? — Вера почтительно наклонила голову в черном клобуке.

— На эстраде! — вскинула голову дама.

Тяжелый пучок смоляных волос оттягивал ей высокую полную шею. Шею обхватывала нитка крупного жемчуга. Вера глядела на жемчужный тусклый перламутр и думала: «Какая красавица, эстрадная певица, и любит ее народ, слушает».

— Может быть, я о вас знаю. Как вас зовут?

— Зиновия.

— Это эстрадный псевдоним?

— Это мое имя, данное мне при рождении, увы!

— Почему увы? — Вера улыбнулась. — Очень хорошее имя. Оно означает знаете что? Богоугодную жизнь ведущая. Вот вы, вы... вы ведете богоугодную жизнь?

Покосилась на ее белый норковый палантин.

— Я? — певица хмыкнула. — Богоугодную?! Да я именно за богоугодной жизнью — сюда приехала! Знали бы вы, какую я жизнь... — не могла договорить, — веду...

Вера тихо взяла певицу за руку.

— Идемте ко мне в келью. Вы мне все расскажете.

* * *

Сестра Васса вскипятила им чай. Они обе сидели на низких табуретах у стола. Стоял Великий пост, и в вазе посреди стола лежали ржаные сухари — угощение к чаю. Васса выставила лимонное варенье в большой розетке. Певица беззастенчиво запустила чайную ложку в розетку, ела варенье из розетки, облизывалась, нахваливала. Она и правда была очень голодна. Варенье исчезло. Зиновия налила в розетку чай, размешала в нем остатки варенья и выпила этот лимонный морс.

— Ох, — перевела дух, — спасибо...

— Сестра Васса, а нет ли у нас чего посущественней?

— Рыбу нельзя, — загибала пальцы Васса, — блины на яйцах нельзя, сметану ни-ни, сдобные ватрушки нельзя, сыр нельзя, икру нельзя, мясо...

— Не о мясе речь, — поморщилась Вера, — ну, хоть постной лепешечки, той, что печет мать Ульяна! Нигде не завалялась? И картошечки к ней горячей, и грибов, тех, что из Кесарии привезли. Так! вижу! грибы в целости. Открывай, сестра, банку!

— О-о, — вскрикивала певица, делая отрицающий жест белой пухлой рукой, — не надо, ну что вы, зачем так хлопотать из-за меня!

— А вы не поститесь? Простите, я не спросила. Или поститесь все же?

— Мне священник сказал, — покраснела до корней волос певица, — что у меня работа тяжелая... и я должна все время восполнять потерю энергии... я же пою, пою... дни напролет на сцене... а то и ночи, знаете, на корпоративах...

— На чем, на чем? — Пришел Верин черед краснеть.

— А это, знаете, такие закрытые концерты... ну, в фирмах во всяких... приглашают... дорого платят...

Сестра Васса, повздыхав, вытащила из скрипучей тумбочки бутылку тель-авивского темного коньяка и маленькую, с наперсток, хрустальную рюмочку.

После горячей вареной картошки с солеными грибами и трех чашек чая с лимонным вареньем, а потом с абрикосовым певица разругалась, как расписная матрешка. Алые щеки ее залоснились, заблестели, словно намазанные кремом. Она подолом атласного платья вытерла пот со лба. Вера уснула Вассу безмолвным кивком. Васса, подобрав рясу, выкатилась за дверь. Вера украдкой поглядела на часы. В их распоряжении было полтора часа, от силы два — до начала вечера.

— Ну, рассказывайте...

Вера не впервые принимала исповедь.

Зиновия глубоко вдохнула, ее ребра расширились, бока выпятились под шелковым платьем, вся она стала похожа на обтянутый шелком бочонок. Потом выдохнула. И внезапно стала маленькой, мелкой — жалкой. Будто воздух весь из нее вышел навек.

Она заговорила так тихо, что Вера не расслышала первых слов:

— ...хороший муж. Правда, он младше меня на десять лет!.. но это же ничего, есть и больше разница, а какая разница?.. лишь бы вдвоем было хорошо, ведь да?.. И жили мы хорошо. Не пожалуюсь. Отдыхать на море летали, в Турцию, в Таиланд. На остров Бали летали! В океане купались... Сына родили. — Певица судорожно сглотнула. — Сына... Такого славного...

Прижала себе ладонь ко рту. Так сидела. Молчала.

Вера не торопила ее.

— И что же? Да самое то... самое оно... изменил он мне. С молоденькой! С совсем сикухой. Со шмакодявкой такой... ой, простите, я ругаюсь... но я не могу... Вы бы ее видели! Килька обглоданная, хамса! Выдерга! И что он в ней нашел! По сравнению со мной... — Певица обвела себя руками, выхваляясь статью. — Ну и... охомутала она его... по полной программе... и он из дома ушел. Уехал! С одним чемоданчиком. Сын так плакал! В голос ревел! Сын... А я... сначала в отместку хотела... любовников заводила... всяких... с кем только я не... простите... я знаю, в монастыре такие речи... но это чтобы вы знали, видели, что я такая жуткая, ужасная... что я — просто дрянь... дрянь! Настоящая! И мне грош цена! А все вокруг кричат: божественная!.. великолепная!.. и все такое прочее. У меня эти крики — вот уже где!

Резанула себя рукой по плотке. Вера поймала ее руку на лету.

— Никогда так не показывайте. То, что вы на себе показали, запомнит диавол. И сделает с вами точно так.

— Дьявол! — выкрикнула певица. Ее щеки уже пылали малиново, страшно. Потек по вискам. — Да что вы тут понимаете в дьяволе! — Она была как пьяная, хоть не выпила ни капли из мирно стоявшей на столе бутылки. — Дьявол не где-то там за углом! Дьявол — он вот, вот... вот он где... — Постучала себя кулаком по груди. — И делает он с нами, что хочет... уж поверьте мне. И может, он-то как раз и послал мне другого человека!

— Другого?..

— Да! Другого! Прекрасного! Превосходного! Вдвое меня старше! Благородного как я не знаю кто! И человек этот — меня полюбил как я не знаю кого! А человек этот — женат! И жена у него — не выдерга! Нет! Жена у него — первый сорт! А может, и вышший! Лучше меня в сто, в тыщу раз! Красотка, умнющая, добрейшая, добрее добрых... нежная, заботливая, так движется, сама грация... прямо как Богородица с иконы сошла и ожила — вот какая... И дети у них! Целых трое! Девочки! Ангелочки! Вера—Надежда—Любовь! Кроме шуток! А тут я. И мужик этот как спятил на мне! Все, кричит, всех от себя отсеку, всех выгоню, ото всех убегу, а с тобой — буду! Только с тобой!

Вера опустила голову и не смотрела на певицу. Она смотрела себе в колени: там лежали ее руки, утружденные, с плоскими, как деревянными ладонями, с шершавой тыльной стороной, рабочие, сильные, усталые — недвижные.

— А сын мой плачет. Кричит: мама, мама, где папа, я так люблю папу! Где он, вернись к нему! Или пусть он вернется к нам! Сделай так, чтобы он вернулся! Найди его! Или я из дома уйду и сам его найду! Давай ищи! Так кричит день за днем. И я не выдержала. Я ему взяла да и крикнула в ответ: нет! Никогда я не буду твоего отца искать! И не нужен он мне! Он меня обманул! Он предал меня! А значит, и тебя! Он для меня — не существует! И для тебя уже не существует! Нет его, нет, понимаешь, нет!.. Я так кричала сыну... моему сыну... сыну...

Зиновия опять заклеила рот рукой. Вера терпеливо ждала.

— И вот когда я крикнула в лицо моему мальчику: нет! никогда! — он пошел и... и...

Вера уже поняла, что случилось. Она подняла свою тяжелую теплую руку и положила ее на колено певицы.

— И утопился... в реке...

— Царствие Небесное, — еле слышно сказала Вера и перекрестилась.

Певица так и вскинулась.

— Царствие Небесное — самоубийце?! — Глаза ее бешенством горели. — Царствие, бормочете?! Небесное?! Да, может быть, он и правда на небесах сейчас! А в церкви же нельзя молиться за самоубийцу! Нельзя им панихиду служить! Вообще преступники они! И на кладбище их — не хоронят! А я кладбищенскому сторожу заплатила черт знает сколько денег! Чтобы он позволил мне моего сыночка в ограде кладбища похоронить, а не за оградой! Все карманы вывернула! Все кошельки на снег перед ним побросала! Позволил! Позволил! Позволил...

Солнце клонилось к закату. По стенам кельи ходили красные пятна печального, вечернего света.

— Если бы вы видели, какой мальчик мой был, когда его вынули из воды! Синий... распухший... Нет, я не могла посмотреть ему в лицо! Я смотрела вокруг лица. Около. В само лицо — не могла. Это был не он. А правда! может, это был не он! не Тимочка мой! может, все они ошиблись!.. Но батюшка в церкви... вот он — не клюнул на деньги... он — оттолкнул мою руку... он сказал, печально так: ваш сын сам выбрал наложить на себя руки, и он сам убил свою душу живую, и это даже не самоубийство, это — убийство... А я кричала: да он же ребенок, ребенок же он еще!.. А батюшка мне: да ведь не несмышленыш же, уж отрок, двенадцать лет... Ему было всего двенадцать лет... Почему батюшка отказал мне в отпевании?! Почему он такой жестокий?! Может, он — от дьявола, а не от Бога?! А еще в церкви стоит, среди икон... Я так орала в церкви... что меня вывели под руки и еле усадили в машину... А потом, когда меня привезли домой, я и осознала: это я, я сама погубила моего сына, я, я одна...

— Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего Тимофея: еще возможно есть, помилуй. Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя, — прошептала мать Вера и медленно перекрестилась.

— И вот... И вот... — Пот густо тек по красному, как из бани, лицу певицы. — Я решила, что сейчас мне уже можно все... И я... я увела моего того хорошего человека из семьи... увела!.. но он не женился на мне. Мы поехали по курортам... он снял нам шикарное жилье... мы там просто бесились на кровати... мы спали где угодно, когда угодно... мы просто ели, съедали друг друга, мы друг для друга были самой шикарной жратвой... и я, я видела это, чувствовала, что я для него — не человек уже, нет... а жратва... и он для меня тоже... И он вернулся к жене. Но все уж было открыто! Все было наружу, наизнанку, все наши потроха! И он сказал жене: я буду с тобой, но и с ней тоже! И началась моя ужасная жизнь. Мать Вера! да! ужасная!

Она в первый раз назвала Веру — «мать Вера». И Вера вздрогнула.

— В чем был этот ужас?

— Он... утопил меня. Теперь — меня!.. я утонула...

— В чем? где?

— В ужасе мира, мать Вера!

Вера глядела молча. Она решила ничего не спрашивать.

— В политике, будь она проклята! В вооружении, да, в горах оружия! В близкой войне! Вернее, в защите от нее, от ее призрака, он так думал, что он нас — от этого безглазого призрака — защищает! Он у меня был — политик. Был, почему был... Да он

и есть! Такой, знаете, знаменитый. На весь мир гремит! Погремушка чертова! Я стала летать с ним на всякие его саммиты. На всякие симпозиумы, встречи эти отвратные! в зале сидела и наблюдала, как он — договоры заключает! Или как на трибуну выходит, к микрофону рот приближает... и говорит. Говорит, говорит!.. говорит... Он говорит... а я не слышу его. Только кровь в висках бьется: бум! бум! бум! — страшно так. Голова вот-вот взорвется. И земля вместе со мной. Так все страшно, и мой человек, знаменитый, умный очень, такой умный, что страшно, говорит об очень, очень страшных вещах. Так, что ты не хочешь, а понимаешь: нам скоро всем хана. Ой, простите! Здесь нельзя так выражаться. Я — нечестивая!

Зиновия закрыла себе рот рукой и даже, во зле и досаде на саму себя, куснула себя за руку.

— Окунулась я в крошечный ужас. Поняла одно: человечество идет к самоуничтожению. Мальчик мой убил себя. Жить не захотел. Это что! Это — может быть, и хорошо... что он — раньше всеобщего ужаса — с жизнью расстался... А люди! Все, кто на земле живет! Мы же все как спятили! Семимильными шагами — к смерти идем. Бежим! Задышаемся! Опоздать боимся! Слушаю моего любимого и понимаю: скоро, не успеем оглянуться, грянет великое сражение. И все погибнут! Все хотят войны! Изголодались по ней, что ли? Не могут без нее?! Так и тянутся к ней. Как к мамке родной! Да ведь она же смерть, хотелось заорать мне на весь зал этого саммита какого-нибудь жуткого, где вроде бы люди в зале восседают, а мне кажется — черти! Рожи у них такие, чертавы. И — рога над теменем, и пяточки свиначьи! Вот-вот захрюкают, все, дружно, и помчатся к гибели, к краю пропасти! И все туда, скопом, рухнут, визжа. И вот все думаю: так зачем же тогда Бог? Ох! Где же тут Бог-то, в нашей жизни? Маленькая она, крошечная! Не успеешь родиться и завопить: уа-а-а-а! — как надо руки складывать на груди и в гроб ложиться. Вам легче, святым! Вы святые. Вы — помолитесь, у вас и душа чиста, и летит она, как птица. А у меня — только на моих концертах летит. Когда я на сцене стою, работаю. Тогда я все забываю. И сына на берегу... на песке... с распухшим лицом. И любовные, подлые крики мои в чужих постелях! И человека моего, этого, блестящего, знаменитого! Ну да, нас с ним папарацци тыщу раз уже подловили. И меня с ним рядом — тыщу раз засняли! Только мне от этого ни жарко, ни холодно! Печатайте фотографии наши, дурацкие таблоиды! Я уже и с журналистами судилась. И выигрывала процессы! Да потому что меня люди любят! А они... кто такие?!

— Они тоже люди, — тихо сказала Вера.

— Люди! Это — нелюди! Они плохие. Подлые! Мне говорят: молитесь за врагов ваших! Знаю я все эти поучения. Я не могу за них молиться! Враг — это враг!

— Зачем вы приехали сюда? Ко мне?

Верин голос шелестел тише шуршанья салфетки.

Зиновия вытерла мокрое лицо ладонями.

— Я приехала сюда, чтобы... здесь поселиться! Уйти в монастырь. Я выбрала — к вам! Мне рассказали о вас. Я поняла: вот — святая!

— Я не святая, — шептала Вера.

— Не спорьте! Вы — святая! К вам полмира идет! Я хочу уйти к вам! Сюда! От мира. В нем одни страдания. Возьмите меня! Иначе руки на себя наложу.

Вера выслушала эти слова и встала из-за стола.

— Спойте мне.

— Что-о-о-о-о?!

— Спойте мне, — твердо, приказом, а не просьбой, сказала Вера.

Зиновия тоже встала. Две женщины стояли рядом. Обе высокого роста, у Веры более широкие и угловатые, твердые плечи. Певица поражала княжью роскошью холе-

ного, сдобного тела. Меховой палантин сполз с плеч на пол. Она переступила через него, через мертвого зверя. Шелк платья заискрился, водяно, речно переливался в тусклом ягодном свете лампад. Солнце уже закатилось, окна густо синели, Вера не пошла ни какую вечернюю Литургию, и это был грех, она еще не успела осознать его. Певица вдохнула воздух глубоко и судорожно, как будто ее, утопленницу, вытащили из темной глубины. И запела — так полнокровно, ясно, ярко и нежно, что Вера вся покрылась гусиной кожей, словно голая вышла из воды на широкий холодный ветер восторга.

— Спи-усни... Спи-усни... Гаснут в небесах огни... Спи... От сена запах пряный, в яслях дух стоит медвяный, вол ушами поведет... коза травку пожует... В небе синяя звезда так красива, молода... Не состарится вовек... Снег идет, пушистый снег... Все полято замело — а в яслях у нас тепло... Подарил заморский царь тебе яшму и янтарь, сладкий рыжий апельсин, златокованный кувшин...

Затаив дыхание, Вера слушала; она понимала, что Зиновия поет колыбельную.

Может, она сама ее написала; скорей всего, было так. Она пела с закрытыми глазами. На ее лицо взошла улыбка. Она и правда походила сейчас на икону Божией Матери Умиление — на любимую икону преподобного Серафима Саровского. Вера любовалась ею. Раскрылись пространства и просторы, сместились густые и прозрачные слои воздуха. Перемешались тепло и мороз. Тихо шел с небес снег, в яслях стояли коровы и козы, длинными сливовыми глазами глядели на Того, Кто родился. Мать держала ребенка на руках. Развернула пеленки. Любовно глядела на маленькое нежное тельце, еще живое тело родного человека. Все — всем — так — не могут быть родные. А что есть чужой? Родной? Вот вырастет этот ребенок. И скажет всем: вы все родные друг другу. Зачем Он это скажет? Ведь Его все равно никто не услышит.

А услышат — потом.

Глаза матери сияли. Светились двумя ночными солнцами. Потом она запеленала младенца, прижала его к груди и закрыла глаза.

— Спи, сынок, спи-усни... Заметет все наши дни... Будем мы с тобой ходить, шубы беличьи носить, будем окуня ловить — во льду прорубь ломом бить... Будешь добрый и большой, с чистой, ясною душой... Буду на тебя глядеть, тихо плакать и стареть... Спи-спи... Спи, сынок... Путь заснеженный далек... Спи-усни... Спи-усни... Мы с тобой сейчас одни... Мы с тобой одни навек... Спи... Снег...

Зиновия выдохнула последнее слово так нежно, будто ловила малую снежинку ладонью.

Она и вправду протянула ладонь вперед.

Синее вино вечера лилось в монастырское окно.

— Снег...

Зиновия сгребла в кулак на груди спящее кольцо.

— А давайте вместе споем, мать Вера?

Вера ничего не ответила. Певица вздохнула, и Вера тоже. Певица запела, и Вера вместе с ней.

— Черный во-о-орон... что ж ты вьешься-а-а-а... над моею головой!.. Ты добычи не добыешься... черный во-о-о-орон... я не тво-о-о-ой!

Они вместе пели в келье русские песни, и Вера плакала, не замечая, что плачет.

А за дверью кельи стояла сестра Васса, закрыв лицо ладонями. <...>

* * *

— Я не могу. Я больше не могу! Я хочу уйти на тот свет, Вера.

— Стой. Погоди. Ты не имеешь права так говорить. Побойся Бога!

— Да что мне Его бояться! Я теперь ничего не боюсь. Я готова Ему служить. Но только пока у меня есть силы жить. Вера! Они у меня заканчиваются. Вера! Я больше не могу жить. Я — хочу — уйти — за ним!

Вера ловила ее летающие, отчаянные руки. Слезы лились по лицу Зиновии на подбородок ей, за ворот, по груди, рясу ей солью вымачивали.

— Я тебя понимаю. Ты мать! И твоего ребенка нет на свете. И ты хочешь к нему, туда. Но ты знаешь, где он теперь?

— Знаю! Все вранье, что он грешник! Он — ангел! И он — среди ангелов, на небесах! И я уйду к нему! Небеса меня примут. — Она дрожала. — Еще как примут! Я измучилась, Вера. Душа моя заржавела, почернела! Нет мне покоя! Я молюсь, я его зову, покой, а он... смеется надо мной! И все люди надо мной смеются. Мне кажется, что они все знают обо мне! И в меня летят усмешки... ухмылки! Еще немного, и плевки полетят! Я — презренная! Я — шваль. Я...

С губ Зиновии сорвалось скверное слово, она произнесла его беззвучно, но Вера прочитала его по губам.

— Тебя все любят в монастыре, Зиновия.

— Нет! Не все. Все никогда не могут любить одного человека! Враги есть у всех. И ненавистники. И у меня тоже. Знаешь, когда я в миру жила, сколько у меня врагов было?! О, не счастье! Меня просто заклевали. И голос хриплый! И одеваюсь как ведьма! И дура-то, двух слов связать не умею! Сын еще не родился — бесплодная, пустой кувшин, сухое дерево! Сын родился — а что только один, себя слишком любит, дети — обуза! Ты даже не представляешь, как меня убивали! А видишь, я жива!

— И будешь жить.

— Нет! Не буду! Устала!

Руки Зиновии враз обессилели, повисли вдоль тела. Она села на табурет и замолчала — крепко, надолго.

Вера хотела говорить. Но тоже молчала. А что тут скажешь? Все и так понятно. Человек устал жить. Душа устала. Хочет вон из тела, на волю.

— Ты права не имеешь, — прошептала Вера. — Жизнь дал Бог, Он у тебя ее и отнимет.

— Я — Ему — помогу!

Вера молчала. Тербила концы угольно-черного апостольника.

— Повторяй за мной, Зиновия. Боже, очисти мя грешную, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя... да неосужденно отверзу уста моя недостойная... и восхваляю имя Твое святое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Она искося, из-под надвинутого на лоб апостольника, взглянула на Зиновию. Поразилась земляной черноте ее лица. Будто бы уже из гроба своего смотрела на нее Зиновия, и губы певицы искривились в усмешке — позорной, презрительной, над самою собой.

— Ты думаешь, это мне поможет?

— Зачем же ты... тогда... — Вера искала глазами ее глаза, — здесь?

— Я думала спастись. Правда. Не веришь?

— Верю.

— А теперь я не верю. Я себя убью!

Вера встала на колени и стала молиться, не глядя на Зиновию.

Зиновия будто вспыхнула огнем. Сорвала с себя платок. Волосы ее разметались. Глаза горели дико, светло. Она шагнула к Вере и схватила ее за руку. За правую, коей Вера крестилась.

— Уйдем отсюда! Вместе уйдем! В мир! Ну его, монастырь этот твой, мертвечина тут! Поешь ты хорошо! Будем петь вместе! Нам еще повезет! Бросай все мертвое! Живи! Ло-

ви счастье! Лови жизнь! Ртом лови, ноздрями, животом, всем! Это же чудо, жизнь! Жаль только, такая коротенькая!

Вера, стоя на коленях, глядела на Зиновию снизу вверх.

Ей казалось: волосы Зиновии шевелятся, как щупальца черного осьминога.

— Ты так поешь, Вера... За сердце твой голос хватает... Я рядом с тобой — нуль, зеро... Сбежим! Уедем! Ты увидишь Россию! Ты тут высохла без нее! Ну! Решайся! В воздухе-то война висит! Ветер войной пахнет! Хоть перед гибелью общей — Родину увидишь! Ну! Ну скажи хоть слово, ты, умоленная! Да, ты святая! А я — грешница, пробы на мне негде ставить! И ничего у меня не получилось с твоим монастырем! Ну, не молчи же, ну!..

Вера, не вставая с колен, тихо сказала:

— Я поеду с тобой. Но не из-за себя. А из-за тебя. Потому что ты страдаешь. Чтобы ты руки на себя не наложила. А то на моей душе грех твой будет. Я тебя спасу. Я буду с тобой, сколько понадобится.

И при этих словах встала с холодного пола кельи так легко, будто ветер ее, высохшую былинку, поднял и понес над землей.

* * *

<...> Они собирались молча, спешно, стояла глубокая ночь, небо вызвездило, и поднялся ветер; ветер резкий, холодный, он гудел и свистел над Святой Землей, говоря о том, что природа может страдать, и гневаться, и кричать, как человек. Вера и Зиновия взвалили на плечи поклажу: Вера — ранец, Зиновия — котому. Переглянулись. Надлежало переступить порог. Это было самое страшное.

Вера земно поклонилась всему, что было тут много лет ее жизнью.

— Господи... спаси и сохрани... всех, всех спаси и сохрани...

Она даже не могла, как надо, по правилу, благословить молитвой остающихся.

Зиновия затравленно, волчком, оглядывалась. Обе женщины стояли в келье Зиновии. Сестра Васса спала, через тонкую стену, нежнейшим, спокойным сном — до будильника к полунощнице. Зиновия воззрилась на Веру, губы ее запрыгали. Вера видела: она испугалась того, что делала. Но было уже поздно.

— Еще не поздно остаться, — вымолвила Вера, не веря себе.

Зиновия помотала головой: нет!

Обе вышли вон. Сначала — Зиновия, вслед за ней — Вера, поправляя ремень ранца: он давил плечо. Ее родимое Евангелие лежало на дне ранца, как и много лет назад.

* * *

Зиновия сказала: поедем самым ранним автобусом в Тель-Авив, оттуда улетим. Вера спросила: почему из Тель-Авива лететь, ведь можно из Иерусалима? Зиновия ответила: здесь нас могут догнать. Нам не надо погони. Вера спросила: откуда у тебя деньги на билеты? Зиновия улыбнулась: мне мой мужчина на карту перевел.

И Вера больше ни о чем Зиновию не спрашивала.

Они поймали машину, шофер довез их до Яффы-Роуд, Зиновия взяла два билета до Тель-Авива. Внутри автовокзала было светло, блестяще и холодно. Зиновия купила им по шакшуке, в обеих руках несла по сковородке, взбитые яйца с помидорами и перцем шипели в кипящем масле, Вера отшатнулась: я не буду! сейчас Великий пост! — на что Зиновия пожала плечами и прикрикнула: все, закончились твои монастырские правила, теперь мир, теперь будут мои! Вера взяла за ручку горячую сковороду и стала поедать шакшуку, обжигаясь, изо всех сил дуя на нее. Зиновия смеялась и тоже ела.

Потом обе выпили по чашке зеленого чая, такого же горячего. «Я весь рот обожгла», — пожаловалась Вера, как ребенок. Зиновия взяла Веру за подбородок. Так немного подержала. «Обожгла? Это ничего. До свадьбы заживет!» Лицо Веры под апостольником превратилось в помидор.

Объявили автобус на Тель-Авив. Обе поднялись с холодного сиденья. Их обдувал игрушечный сквозняк кондиционера. Слегка трепал их рясы.

— Нам нужна цивильная одежда, — прищурившись, сказала Зиновия, оглядывая Веру.

— Нет, не нужна, — сказала Вера.

— Что ты со мной споришь? Вот так нас точно сразу вычислят. И в Тель-Авиве нас уже будут ждать с собаками. Мать Мисаила даром что старая, а не дремлет. Васса проснется, все поймет и сразу донесет.

— Нет, — еще тверже сказала Вера, — я ни во что другое не оденусь. Это моя одежда на веки веков, аминь.

— Ну и... сумасшедшая!

— Уж какая есть.

Вере совсем не хотелось ни шутить, ни препираться. Зиновия забежала в вокзальный бутик и быстренько купила там длинное цветастое платье и туфли на высоких каблуках; потом сбежала в туалет и переоделась. Придя, затолкала в котомку рясу и вытащила из котомки норковый палантин. Встряхнула. Накинула себе на плечи. Серебристый мех вспыхнул забытой роскошью. Повернулась перед Верой и прижала ладонь к бедру.

— Ну? Как я тебе?

— Долежался, — сухо сказала Вера, кивком указывая на мех.

— Ну да!

— Хоть сейчас на сцену, — так же холодно сказала Вера.

Она попыталась улыбнуться, не вышло.

Они вышли из вокзала, теплый ветер ударил им в грудь, потом в спину. Перед ними стоял автобус, и Вера задрала голову, таким он гляделся громадным, как айсберг. И под солнцем сверкал ледяно. Женщины забрались в автобус, уселись. Переглянулись.

— Ты хоть осознаешь, что мы сейчас поедим? Уедем?

— Куда? — беззвучно спросила Вера.

Зиновия угадала по губам.

— Из Иерусалима вон!

— Куда? — повторила Вера.

— В Россию, Господи, куда же еще! В Россию! <...>

...Зиновия поправила сползающий с плеч норковый палантин. Лицо ее румянилось возбуждением, восторгом бегства, предчувствием долгой опасной дороги.

— О чем ты?

Вера молилась.

— Спаси, Блаже, души наша...

Посмотрела на Зиновию долго, долго.

И Зиновия захотела укрыться от ее всевидящих глаз.

— Господи, да будет воля Твоя.

Зиновия смущенно перекрестилась.

За спиной люди, смеясь, говорили на иврите. Вера за все время жизни в Иерусалиме выучила на иврите всего несколько слов. Она помнила сказание о башне Вавилонской. Сколько языков на земле! А любовь — одна.

Молитва для нее, пока она жила в монастыре, была главным деянием. А теперь что? Что для нее теперь главное? Ведь она возвращается в мир.

«Боже мой, Вера, что же ты наделала».

Мир. Ведь его, белый Божий свет, зовут — Мир. Это недаром. Мир — это залог того, что он никогда не станет войной. Много людей про войну кричит! Кто-то к ней даже усиленно готовится, Вера понимала это. И будущее страдание, она тоже это понимала, ей одной было не отодвинуть. Не отомолить. Только вместе. С кем? Кто ей поможет? Она посмотрела на Зиновию. Вот она? Разве она сможет помочь? Зиновия возвращается в Мир, чтобы вернуться к себе. Чтобы — петь. А Вера? Она же петь не умеет. Что она будет делать в Мире? Кого спасать? Зиновию? Одну ее? Единственную?

— Единственную... — вылепили губы.

«Надо же кого-то единственного заиметь в жизни. И — спасти».

Всех людей — всех, кто в ней нуждался, кто к ней шел — побоку, чтобы спасти — одного человека?

«Да. Так бывает».

Автобус мягко, так нежно стронулся с места, что Вера не заметила, как поехали.

Зиновия вынула из сумки косметичку, щелкнула замком, вытащила круглое зеркальце, озорно, кокетничая сама с собой, смотрелась в него. Поправляла волосы над виском.

— Вера, неужели я вернусь на сцену! Я буду петь! Вера! Нет, я еще не осознаю этого!

Она так радовалась, что Вера подумала — она сейчас вскочит с кресла и запоем на весь автобус.

— Зина! Сиди спокойно.

Глаза Зиновии влажно блестели. Такой красивой Вера никогда не видела ее.

Зиновия приблизила губы к щеке Веры и тихо спела ей прямо в ухо:

— Сиди спокойно, сиди, молчи... Стучи, мое сердце, стучи, стучи... Гори, мое сердце, ярче свечи — в огромной, как мир, черной ночи... Тебя не излечат в ночи врачи, тебя не казнят в ночи палачи, с тобой только ночи черная кровь, с тобой только, сердце, твоя любовь!..

— Что это?

— Это моя песня. Я вчера ее написала. Перед отъездом. Я буду ее петь в Москве. На первом же концерте спою! Вот удивятся мои продюсеры, когда я перед ними появлюсь! Они-то небось думают, я умерла!

Автобус набирал ход. Вера не думала ни о чем мирском. Как, где они будут жить? На что кормиться? Может, не жить будут, а выживать? Певица будет петь, это понятно. А Вера что будет делать? Не было об этом ни мыслей, ни слов. Автобус катился все быстрее. Ровный асфальт ложился под колеса, пассажиры-соседи включили музыкальную запись в гаджете, звуки наполнили салон, все заулыбались: музыка веселая, плясовая. За окнами мелькали ветви, камни, мотели, мосты, горы, пески. Святая Земля, ставшая Вере родной, провожала ее.

«Я на время уезжаю. На время. Только на время. Я вернусь».

Она пыталась вспомнить, с каким чувством уезжала из Красноярска. Да, с точно таким же: думала, что доберется до Иерусалима, выполнит завещание Анны Власьевны, погостит немного в чужих краях и вернется.

«А теперь вот все эти люди, целый автобус веселой молодежи, да куда они все едут? А просто в Тель-Авив. Просто — кто куда! Кто в гости, кто по делам, кто на работу устраиваться. Кто так же, как мы, в аэропорт поспешит: к самолету. Лететь. Люди все время куда-то летят. Небо, оно как пашня, все летящими железками распаханное. А молодые? Куда они мчатся? Они думают, мы их не понимаем. Мы их — понимаем! А они нас — не всегда. Мы для них — старье! А старье надлежит выбросить. Оно уже немодно! И в дырах. О чем они?.. а, о политике. О войне опять! Бормочут стихи, а это разве стихи? В нас плюют. В то, что не они сами — плюют. Ну, не все, конечно... не все...

А к тебе в монастырь молодежь разве не приходила? Приходила... Много молодых ты принимала... И в горе, и в счастье приходили... Зачем?.. Чтобы на тебя подивиться? Чтобы просто потом друзьям сказать, похвастаться: я — у монахини Веры — да, да, у той самой — в Иерусалиме — был!.. и чай с ней пил... с сахаром вприкуску... с баранками русскими... По усам текло, а в рот не попало... Ничего так монашка... бойкая... да, прозорливая... мне судьбу предсказала..."

...все слишком странно. Странностей хоть отбавляй. Через край. Водку льют и льют в поминальную рюмку. Воду — в стакан. Я будто в поезде Тайшет—Абакан. Пить! Жажду — жить! От воды всякий пьян. Жажду — быть. Вьется, сгорает нить. Дорога вьется. Кто надо мной так хищно смеется? Вода через край — хрусталь — серая сталь — из стакана, а ее льют и льют, утони, захлебнись в огнях и туманах... все льют и льют...

...что... вино и брашно... страшный?.. суд?..»

Зеркальце в пальцах Зиновии страшно высверкнуло. Ударило светом по ослепшим глазам.

Автобус тряхануло, он чуть замедлил бег, потом опять набрал скорость. Легкий гул висел в воздухе, и у Веры закладывало уши, будто они не по земле катились, а летели в самолете. Зиновия печально спрятала круглое, больно скалящееся сколами огненных скал, колдовское зеркальце в сумку. Отвернулась от Веры, глядела в окно. Ее лицо, такое знакомое Вере за все это время, что Зиновия прожила в монастыре, стало чужим: румяным, лоснящимся — довольным, мирским. Она предвкушала сладость той жизни, которую бросила. И кажется, она — по крайней мере, здесь и сейчас — забыла, что хотела расстаться с жизнью. Жизнь оказалась сильнее ее скорби.

Вера не осуждала ее. Она радовалась этому преображению.

«С каждым может случиться всякое. Человек меняется. Зиновия изменилась. Где ее бессмертная душа? Она родилась к новой жизни. Не все мы умрем, но все изменимся».

Вера шепотом повторила слова апостола Павла. Что-то произошло с временем. Оно будто остановилось. Автобус двигался вперед, а время встало. Потом появился яркий свет. Их всех, и железную повозку, и людей внутри нее, обняла ярчайшая вспышка. Люди ослепли и закричали. Ослепла и Вера. Она перестала видеть Зиновию, людей вокруг, мир за окном. Свет превратился в огонь и достиг сначала до тела, потом до сердца, и сердце наполнилось болью и вспыхнуло.

Вспыхнуло все.

Все, что родилось под солнцем и луною.

И ярко, бешено горело все, что могло гореть.

И огонь.....

ХОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ. ПЪВИЦА

...под веками пламя.

...лицо медленно остывало от вселенского жара.

— Э-эй. Э-э-эй! Вера-а-а! Проснись! Прибыли!

Вера глядела слепо, беспомощно.

Разум возвращался к ней, но она не верила ему.

Ухватившись за локоть Зиновии, Вера вылезла из автобуса. На другом автобусе они добрались до аэропорта Бен-Гурион. Перелет Вера помнила смутно. Помнила: тусклые иллюминаторы, и в них туман, а потом слепяще-синяя пустота.

Зиновия поймала перед зданием аэропорта такси, назвала адрес. По обе стороны машины мелькала жизнь, не прожитая Верой. Они приехали к Зиновии домой. Вера

впервые видела такую роскошь. Цветные плашки паркета отсвечивали голубым, золотым, розовым. Картины болотно мерцали в тяжелых позолоченных багетах. Хрустальные люстры напоминали сверкающие княжеские лодки. Рояль плыл черным лаковым кораблем. Зиновия пробежалась пальцами по клавишам. Смеялась залиvisto. Она так радовалась миру! Так радовалась дому. «Какая пылица, — кричала Зиновия, бегая по комнатам и счастливо раскидывая руки, — я завтра же найму горничную!» Она кричала о том, как наймет еще повариху и стилиста и как позвонит продюсерам, что сочли ее мертвой. Еще что-то радостное залихватски кричала. А потом уселась за рояль, и стала играть бурно и пламенно, и запела. Ее голос заполнил комнаты. Вера не могла сосчитать, сколько у певицы комнат. Да и ни к чему это было. Раздавались звонки, звенели колоколами разговоры, возникали и таяли голоса, люди входили и выходили, а какие-то оставались, пахло вареным и жареным, ярко сияли посреди стола, укрытого белой скатертью, фрукты в мощной великанской вазе, и певица брала из вазы апельсин, чистила его острыми, уже торопливо покрашенными заморским лаком ногтями и хохотала: «Конечно, в монастыре апельсины вкуснее!»

Зиновия жадно окунулась в забытую жизнь, она не пела, а пила музыку, как воду в пустыне, как вино. Обзвонила знакомых музыкантов, что играли с ней когда-то; снова собрала оркестр. «Вера, это мои музыканты! Мои! Ты такой певец, каковы музыканты твои! И у тебя такие музыканты, какой ты певец!» Опять смеялась. Вера не могла смеяться вместе с ней.

Вере постелили богатую пышную постель, она спала в отдельной комнате, а ночью, во сне, ей все казалось, что она в своей келье и что рядом сопит, похрапывает сестра Васса; она просыпалась, поднималась на локте и испуганно смотрела вокруг себя, с трудом осознавая, где она.

Москву, что явилась ей бегло, быстро, изменчивым ликом своим, когда Вера направлялась в Иерусалим, и довелось ей прожить в столице отмеренное время, она не узнавала и не принимала: слишком сутолочным, слишком ярким, грязным и гигантским, подавляющим каменной мощью своею, представал перед ней этот город, вечерами так полный огней, что Вера, когда выходила на улицу, зажмуривалась, не в силах перенести громадный огненный натиск. Это был город, незнакомый ей, и она совсем не хотела с ним знакомиться; ни к чему он ей был. Многооконные небоскребы упирались в небо, а рядом расползались по пыли, по снегу нищие домишки. Мир никак не мог стать однородным, да и зачем? От века в мире боролись богатство и нищета, храбрость и трусость, добро и зло. Вера понимала: здесь тоже много зла, как и везде на земле. И здесь ждут люди ее помощи. Но перво-наперво надо было помочь Зиновии; Вера видела, ее захлестнула радость возвращения к самой себе и к земному делу своему, и молила Бога об одном: чтобы Бог ей, Вере, дал силы поддержать Зиновию во всемирном пении ее.

Являлись продюсеры, один лысый и веселый, другой волосатый и мрачный; и оба ели и пили у Зиновии, и сновали женщины, чтобы повкуснее накормить мужчин — повариха хлопотала на кухне, горничная и Вера таскали в гостиную подносы с яствами и винами. Пили много. Вера глядела на винопитие без осуждения, спокойными печальными глазами. Все круглее становились ее большие, чуть раскосые, широко распахнутые и широко расставленные под морщинистым лбом византийские глаза; все сильнее торчали сибирские скулы, и легкая раскосинка делала временами диким, таежным ее худое смуглое, загорелое на жестоком иерусалимском солнце лицо. Не лицо, а лик. Зиновия иногда останавливала взгляд на Вере, вздрагивала и тихо, зло и быстро спрашивала: «Что? Судишь меня, святая? Приговор мне сочиняешь? А я вот такая. Хочу — пью, хочу — пою!» Вера вздыхала прерывисто, как после плача. «Пой, Зина. Лучше — пой».

Зиновия взяла ее на первую репетицию: «Поехали со мной!» Вера еще не знала, что Зиновия задумала. Приехали в большой белый, с колоннами, дом, поднялись по лестнице в белый, тоже с колоннами, зал. Певица взбежала на сцену. И поманила за собой Веру.

— Давай, давай иди сюда!

Вера глядела строго, свела брови в линейку.

— Зачем? Не пойду.

Зиновия махала рукой, будто тонула и молила о помощи.

— Ну же! Ну!

Вера медленно поднялась по ступеням на дощатую сцену. Вблизи сцена гляделась совсем не торжественно и не нарядно: барабаны свалены в кучу, разбросаны подиумы, вьются змеями микрофонные шнуры, на стульях золотыми недвижимыми тушами лежат тромбоны, трубы и валторны.

— Через провод не упади! — кричала певица.

Вера подошла к ней, припадая на больную ногу. Только теперь она увидела, что близ рампы стоят два микрофона.

Зиновия крепко взяла Веру за руку. Рука Зиновии была твердая и теплая.

— Давай вместе. Черный ворон, что ж ты вьешься. Андрей! — крикнула во тьму зала. — Смикшируй там, где надо. У нее голос сильный!

Вера слишком поздно догадалась, чего от нее хотят.

Отступать было поздно.

Музыканты валом валили на сцену, рассаживались, гитаристы перебирали струны, духовики брали пронзительные, режущие ухо ноты: разминались. Пианист гонял руки по клавишам и кричал: «Замерз! Замерз! Пальцы не шевелятся!»

Вера, в черной, до пят, рясе, и певица, в черных, обтягивающих бедра лосинах и в черной водолазке, — обе одновременно вдохнули воздух и запели:

— Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой! Ты добычи не добьешься... Черный во-о-о-орон, я не твой!

Оба голоса, высокий и низкий, заполнили зал так легко, будто светились во тьме теплым сладким молоком, и его доверху налили в каменный кувшин.

В зале сидели люди. Немного людей. Они замерли, слушая песню.

— Завяжу смертельную рану подаренным мне платко-о-ом... А потом с тобою стану говорить все об одном... Полети в родну сторонку, скажи мамушке мое-е-ей... Ты скажи моей любезной, что за ро-о-одину я пал! Отнеси платок кровавый милой любушке мое-е-ей...

Лысый продюсер привстал в кресле. Лохматый обнял лоб ладонью, уронил голову на грудь и так сидел: слушал.

— Ты скажи: она свобо-о-одна... я женился на другой!..

Люди тихо входили в зал, протекали за задние ряды, мышами юркали на передние места. Кто были эти люди? Случайные в этом большом, угрюмом здании, и прибились к концертному залу, и утро, и час ранний, и что они делают здесь? Они изловили в воздухе музыку, какой не слышали никогда. Зиновия пела, закрыв глаза. Она плыла в песне, как в море. Рассекала голосом и сердцем темные воды, чтобы они не сомкнулись у нее над головой. Вера пела с открытыми глазами. Настежь распахнутыми. Она вся была — открытая дверь, и сквозь нее, открытую, мог входить и насквозь выходить, в широкий мир, и широкий ледяной, безумный ветер, и любой человек, что сюда забрел, в зал, и тот, кто тосковал вдали и не мог въявь слышать песню, но улавливал ее последней, предсмертной дрожью сердца. Круглые огромные глаза, почти совиные, прожигали темный, сизый воздух зала. Пахло куревом. Маленький барабанчик отбивал нервный пульс. Один резкий удар, четыре коротких, три длинных. Один, четыре коротких...

— Взял невесту тихую, скро-о-о-мну... в чистом поле под кустом...

Обе женщины пели и не смотрели друг на друга. Голоса их сплетались — крепче некуда. Словно это был один голос и разделился надвое.

— Повенчальна была сваха — сабля во-о-о-острая моя!

Зал затаил дыхание. Репетиция, концерт? Все равно. У царя Давида в руках арфа, и он, закрыв глаза, поет свои псалмы. Пой, Вера, пой! Эта жизнь — тебе. Она твоя. Тебе в ней назначено петь. А ты об этом и не знала.

— Калена стрела венчала... середь би-и-и-итвы роковой... Чую, смерть моя приходит!.. Черный ворон...

И тут Зиновия открыла глаза и резче молнии обернулась к Вере.

И поймала глаза Веры, ее черные, без дна, зрачки: Вера тоже смотрела на нее.

«Весь я твой!» — надо было спеть древние, вечные слова, но Вера все переиначила. И Зиновия ее подхватила.

— Я не твой!

Торжествующая улыбка обвила щеки Зиновии. На ее румяных скулах застыли капли слез. Вера стояла прямо и гордо, молча. Сухая, жесткая, как доска. Как всегда: спокойно.

Молчала, будто бы это и не она вовсе тут так пела.

— Ну что? — спросила Зиновия, и микрофон нагло разнес ее вопрос по всем закоулкам зала. — Каково тебе? А? Хорошо тебе? Не ругаешь меня? Ну, поругай, поругай!

Звукооператор догадался и убрал звук.

Люди в зале переглядывались.

Вера повернулась к залу спиной и медленно отошла от микрофона в сторону. Люди видели ее спину, облитую черной рясой. И ничего не понимали. Монашка какая-то, хромоножка, а голос с целый дом, до дна пробирает, поет так, что душу вынимает, ну да, они там, в монастырях-то в ихних, петь обучены, с утра до ночи в хорах поют, вот оттуда и взяли, а откуда, вы не в курсе, из Новодевичьего, а может, из Зачатьевского, а может, из Данилова.

* * *

Зиновия стала заниматься с Верой музыкой. Распевать ее: ставила у рояля и показывала упражнения для голоса. Вера послушно повторяла. Это было ее новое послушание в миру, и она безропотно делала то, что от нее требовали. Голос креп, расширился, приобретал грудные бархатные ноты. На репетициях Зиновии и Веры толкалась публика; их репетиции уже посещали, как концерты, Зиновия шутила: «Билеты начнем продавать». Первый их совместный концерт прошел на ура. Народ завалил обеих певиц цветами. Люди несли и несли на сцену букеты. Люди пришли на концерт своей любимицы, про нее слухи ходили, что она где-то в монастыре на Святой Земле исчезла, погибла для мира, а она — вон она, живая-невредимая, поет, как соловей, да еще монахиню с собой из монастыря привезла, с таким голосом — закачаешься! «Браво! Бис!» — орали им, надрывая глотки, и женщины выходили и выходили на сцену снова, кланялись, взявшись за руки, Зиновия улыбалась, Вера все тоньше, в нить, сжимала суровые губы, а люди ставили к их ногам корзины цветов, подносили такие букеты роз, что Зиновия не могла унести их за кулисы в руках, как крепко ни обнимала, — и в конце концов клала на плечо и так несла, как вязанку дров, и публика хохотала и рукоплескала бешено.

А Вера шла за ней, стараясь не хромать, а идти прямо и ровно, и ряса ее черная на сквозняке, что дул из-за кулис, развевалась вокруг ног, делая ее похожей на летящее над досками сцены черное облако.

Их неожиданный дуэт рождал домыслы, сплетни. Их концерты обрастали невероятными слухами. Желтая пресса старалась, вылезала из кожи. Их обвиняли в порочном

сожителстве; о Вере писали, что она дочь богатейшего магната, которую он юницей заточил в монастырь из-за скандалов капризной любовницы; а еще, что она дочь знаменитого итальянского тенора, выросла в Италии и ни слова не знает по-русски, а влюбилась в Россию и тайно приняла православие и монашеский постриг; а еще, что они с Зиновией задумали узаконить свою грешную страсть в Амстердаме, а потом взять ребенка на воспитание; а еще, что Вера на глазах у президентов всех стран прыгала с парашютом на авиасалоне в Париже и сломала ногу и теперь хромота; а еще, что она, дурочка монашка, вытащила Зиновия из петли, и в награду Зиновия обучила ее пенью, и вот поют вместе. Еще писали, что все это театр, кукольная комедия, и никакая Вера не монахиня, а просто так надела рясу, для привлечения народа на концерты, для пущей рекламы. А на самом деле она работает в ночном клубе на Варшавском шоссе, она танцовщица на шесте и искусная стриптизерша, а это так, наглый маскарад. Чего не вытворишь ради хороших сборов!

Жизнь пошла бешеная, плотно ложились друг к дружке дни, месяцы и годы. Женщин крепко склеивала музыка. Вера окунулась в мир, о каком даже не мечтала. Музыка раскрывалась ей всем нутром, а внутри были тысячи жемчужин, и все играли светом царским, самоцветным: золотым, алым, сиреневым. Каким угодно. На выбор. Музыка менялась ежесекундно, на лету. Ни одна мелодия не звучала сегодня так же, как вчера. Музыка измеряла время и тут же зачеркивала его, уничтожала. Внутри музыки время не билось, и все более Вера со страхом и радостью убеждалась: музыка — это Бог. <...>

* * *

И явился не запылел, из-под земли вырос человек, что любил Зиновию, да так и не расстался с супругой своей и на Зиновии не женился.

Человека этого звали... Да, у него было, конечно, имя, но оно слишком громко, знаменито звучало, и слишком оно было опасным для того, чтобы другим его просто, как за завтраком или обедом, произносить; у Зиновии для него было свое, тайно-ласковое имечко; Вера же звала его, как все, N, она не могла иначе.

N, явившись один раз, стал появляться и другой раз, и третий, и десятый. Стал приходить. С цветами, как водится. С тортами. Вера в пост не вкушала торт. N косился на Веру, когда она тихо ела столовой ложкой из алюминиевой миски разваренную гречку, в то время как N и Зиновия, рядом с ней, отпивали чилийское вино из высоких бокалов и закусывали отменными устрицами из фирменного рыбного магазина на Тверской.

О чем N беседовал с Зиновией? Вера никогда не подслушивала их разговоров; хотя они оба Веру не стеснялись, при ней ругались, при ней мирились и звучно, вкусно целовались. Зиновия, Вера видела это, приняла N и простила; у них началось новое время их любви, и Вера радовалась за Зиновию — вот у нее теперь есть своя, женская жизнь, ведь она молода, и она хочет жить, и хоть жизнь эта у них, у мужчины и женщины, во грехе, да Господь все устроит; все управит Он и тут; если суждено им Богом, людям этим, быть вместе — будут.

И Вера не замечала того, что происходило на самом деле; ее глаза не видели, уши не слышали. После концертов она молилась в своей комнате — она обратила комнату в келью: у нее там по стенам висели дешевые софринские иконки, купленные в церковных лавках, да на видном месте, на деревянном столике с высокими, как у богомола, тонкими ножками лежало ее родное Евангелие, что колесило вместе с ней по земле. Она молилась, как всегда, сосредоточенно, отрешаясь от всего мирского, полностью погружаясь в разговор с Богом.

Молитва — это и был ее дом, а вовсе не роскошная, царская квартира Зиновии. Все, происходящее с ней, Вера принимала сердцем, потому что сердце ее непрерывно молилось.

Так, беспрерывно молясь, на ходу про себя повторяя Иисусову молитву, подобно преподобному Серафиму Саровскому или святой Иулиании Лазаревской, она и не увидела, не заметила, что случилось.

Н приходил уже очень часто, через день, а потом и всякий день, когда Зиновия и Вера пребывали в Москве. Цветы в доме не переводились. И все чаще Н подсаживался к Вере, перемолвиться с нею парой слов. Все чаще просил ее: «Вера, спойте, пожалуйста, вашу новую песню». Вера послушно садилась к роялю. Ее неумелые, негибкие, слишком твердые для музыканта пальцы с трудом впивались в клавиши, она давила их, как давят смородину в медном тазу, чтобы пересыпать сахаром. Да, она пела. А Н — слушал.

И Вера не видела, как он слушал; она была занята песней.

* * *

День этот настал просто и печально, как все остальные дни в круговерти метельного времени. Н подгадал, когда Зиновии не было дома. А Вера была. Она, засучив рукава и подоткнув подол рясы, убирала квартиру, отпустив домой горничную. Открыла дверь на звонок. Никогда она не спрашивала трусливо: кто там? Зиновия журила ее за это. «Верочка, ты дурочка! Это же мегаполис! А не монастырь! Здесь любой тебя по голове булыжником долбанет или ножом пырнет! Или пулю в тебя с порога всадит — и давай грабить! А у меня, сама понимаешь, есть что стащить!»

На пороге стоял Н. Бледный как снег. Самого еле видно из-за громадного букета белых роз. Вера поклонилась, приглашая гостя войти. Он вошел. Сбросил плащ. Вера смущенно одернула рясу, взяла у Н из рук розы и поставила в воду — не в вазу: в ведро. Они сели за стол. Розы в ведре благоухали. Н заметно волновался. Губы кусал. Вера глядела ему в лицо прямо, светло и спокойно.

— Простите, — сказал Н, — простите, простите. Я — люблю вас.

Вера вроде бы и не удивилась. Выслушала это, наклонила голову. Молчала.

Она давала человеку свободу: говорить, молчать, плакать, уйти.

— Вы можете смеяться надо мной.

Вера вздохнула.

— Но вы же любите Зиновию. Вы же всегда любили ее.

— Да. Я любил ее. И сильно любил. Но я любил тело. И меня любило тело. Чужое тело. А я всю жизнь искал душу. Душу! Понимаете, душу! Я всю жизнь... душу искал! И вот нашел! Нашел... вас... Не смотрите на меня так! Вы глазами из меня — душу вынимаете!

Вера отвела взгляд. Закрыла глаза.

Губы ее шевелились. Она беззвучно повторяла Иисусову молитву.

— Вера!

Н взял в свою руку ее руку. Вера какое-то время руки не вынимала. Чужое тепло перетекало из руки в руку, и она прислушивалась к этому перетеканию, спрашивала себя: хорошо ли это? плохо ли? что я должна делать? — и не делала ничего, просто так сидели, рука в руке.

Потом она, будто опомнившись, мягко вынула свою руку.

И ее рука все еще хранила тепло чужой любви.

И Вера помолилась за любящего человека: «Господи, спаси его и сохрани».

— Я не могу вам помочь.

Он плакал.

— Я так и знал!

Склонился над коленями Веры. Припал губами к ее руке, спокойно лежащей на коленях.

Тепло чужих губ. Боль чужой любви. Нельзя быть вместе, но и расстаться тоже нельзя. Так рядом!

Дверь стукнула. В гостиную, нераздетая, прямо в шубе и сапогах, разъяренной зверицей ворвалась Зиновия.

Вера, как издали, услышала ее вскрик.

— Я так и знала!

«Вот она почему-то знала все. А я почему ничего не знала?»

Н оторвался от руки Веры, выпрямился, поднялся, глядел на обеих женщин сверху вниз. Высокого роста он был. Глаза его вспыхивали слезами, а лоб волновался, как море, морщинами. Ничего не говоря, не глядя на Зиновию, он вышел. Зиновия резко, грубо, чуть не разрывая мех, стащила пушистую песцовую шубу, переступила через нее, обернулась и пнула ее, как убитого зверя. Вколавшая каблук в паркет, протопала к столу. Села. Мерила Веру острым, ножевым взглядом.

— И что скажешь?

Вера молчала.

— Монашка умоленная! За моей спиной!

Вера молчала.

— Далеко у вас зашло?! Отвечай!

Вера подняла на Зиновию глаза.

— Зиновия... ты ли это... Бога побойся...

— Никакого твоего Бога я давно не боюсь! — кричала Зиновия, из глаз ее летели искры слез и ненависти. — Никакого! Я так и знала! Я чувствовала! Ты — предатель! Иуда ты! Ты ничего не говорила мне! Чтобы я... — Задохнулась. — Да чтоб ты... — Осеклась. — Да ты бы хоть прощения попросила! У других — просишь! а у меня — нет! Слабо тебе!

И крикнула, протяжно и страшно:

— Свята-а-а-ая!

Вера встала из-за стола.

Что-то ей надо было сделать сейчас же; или уйти, и уйти навсегда, или остановить истерику Зиновии, дать ей воды, безжалостно облить ее холодной водой, потом растереть полотенцем, и слезы ей вытереть, обнять, утешить; и правда, может, встать перед ней на колени и прощения у нее просить, как она просила прощения у всех людей, кто их прилюдно оскорблял; а может, надо было размахнуться и вклепать Зиновии пощечину, от всей души, и заорать: да никого я не люблю, и ничего и не было, и быстро ты брось эти штучки, рыдания и вопли! разве же я способна на такое, ты же сама видишь!.. а если ты меня до сих пор не поняла, тогда иди, думай, молись, плачь, понимай!.. — и вдруг как кипятком окатило ее: когда сидела она за столом, а он, Н, целовал ее руку, разве не приятно, не радостно ей было? Разве нежностью, сладким теплом не обдавал этот горячий, со слезами, поцелуй ее изнутри? А вдруг она сама любит его? И врет сейчас Зиновии, врет, что не любит.

«Но я же... я же — монахиня... я же — всех люблю... всех...»

И Вера растерялась.

Она не знала, что ей делать. Не знала себя.

И стыдилась себя, и боялась себя.

И спрашивала себя: «А что ты чувствуешь по правде? Что? Что?!»

Не было у нее на это ответа.

Медленно, медленно опустилась она перед Зиновией на колени.

И обняла ее ноги, крепко, крепко обняла.

— Зина... прости...

Зиновия дрожала.

— Ага! Прощения просишь! Значит, рыло в пуху!

Она оттолкнула Веру, зло, грубо, как давеча шубу, пнула, и сама отошла, и запустила пальцы с острыми крашеными коготками себе в смоляные волосы, и закинула к потолку лицо, и смеялась, и плакала, — сходила с ума. Вера все еще стояла на коленях. У нее не было сил ни подняться, ни говорить, ни идти. Она склонилась, будто в земном поклоне, и лбом припала к паркету. И так, согнувшись, стояла на коленях, уткнувшись лбом в пол, как на молитве напротив чудотворной иконы. И незримая икона громадными глазами с темного, закопченного лика, светясь синими выпуклыми белками и прозрачными озерными радужками, зрачками сияя, в которых — не чернота, а золото живое, жалобно, слезно глядела на сжавшуюся в покорный ком Веру, как на приبلудную собаку, как на жалкого голодного зверя, что всецело — в чужой могучей власти.

* * *

Посреди ночи Вера внезапно проснулась. Она теперь спала у Зиновии не на мягком диване, не на заграничной пуховой перине — на жестких досках, чуть прикрытых верблюжьей кошмой, а сверху грубой льняной простынкой. Такою была ее просьба о ночлеге.

Услышала легкий скрип. Еще, еще один. По плашкам паркета кто-то очень осторожно шел. По деревянному мосту через незримую реку.

...перламутр минут, гиацинт часов...

...отведи беду... отодвинь засов...

...нет... только не зажигай свет...

Вера таращилась во тьму, но огня не зажигала. Рядом с ее рукой на стене висел выключатель ночника. Она не протягивала к нему руку. Ждала. Глаза скоро привыкли к темноте. Она услышала дыхание. И запах спирта. Кто-то пьяный вошел к ней. «Поздние гости Зиновии? Кто-то мотался по дому и заблудился? Горничная подвыпила... ночевать осталась... и бродит?..» Глаза различили во мраке светлую ночную рубашку до полу. Белую праздничную ризу в полумгле храма.

Белую розу.

Человек вступил в полосу лунного света. Выблеснуло лицо секирой. Женщина. «Зиновия!» — хотела воскликнуть Вера, да не успела: певица уже наваливалась на нее всей тяжестью, грудью и животом, и силилась набросить ей на шею тонкий жесткий шнурок. Вера все сразу поняла, отбивалась. Вертела головой, отдирала от груди, от голой шеи липкие пальцы.

Пьяная Зиновия перебарывала Веру, оказывалась сильнее. В Москве певица потихоньку набрала вес, снова стала той пышной примадонной, что когда-то приехала спасать свою жизнь в иерусалимский монастырь. Ей удалось обвить шею Веры удавкой. Сильные пальцы Зиновии затягивали удавку, пьяный язык плел кренделя, шептал то, что трезвая таила в себе, скрывала.

— Ах ты, змея!.. подколодная... Вот она и вся твоя святость... Подлая ты, подлая!.. Ну ничего... молись... сейчас полетит твоя душа в Рай... или куда там?.. Молись давай, молись... мысленно... не рвись, дура... я все равно сильнее...

«Господи Иисусе Христе... Сыне Божий... помилуй мя... грешную...»

Вера лежала под ней, она все еще не верила, что Зиновия ее убивает; ей казалось это невозможным. «Мне снится страшный сон, я сейчас помолюсь, поднатужусь, скажу себе, что это сон — и проснусь». Когда пришло понимание: это не сон! — было поздно и бороться, и молиться: Зиновия уже сильно, зло стягивала петлю.

— Сдохни... сдохни, собака!..

Вера видела над собой искаженное злобой и бешеной ревностью пьяное лицо Зиновии, оно уже начало подергиваться туманом; она не могла поднять руки, чтобы оттолкнуть Зиновию или процарапать ногтями ее лоб и щеки. Тело утратило силу. А душа еще ныла и стонала. Еще хотела жить. Воздуху не хватало. Рот открывался и закрывался, как у рыбы.

Из последних сил, выгибаясь на жесткой своей постели коромыслом, Вера выхрипнула:

— Прости ей... Господи... прости...

И тут случилось чудо. Пальцы Зиновии разжались. Вера громко и хрипло вдохнула воздух. Она дышала с таким звуком, будто ножом чистили сковороду. Вдыхала воздух еще, и еще, и еще раз, и веря себе, и не веря: жива. А убийца? Что с ней? Вера не видела Зиновию. Или Вера ослепла?

— Зина... — Хрипы разрывали грудь. — Зина... где ты...

Рядом, на подушке, валялась черная удавка.

Зиновии не было нигде.

Вера приподнялась на кровати на локте — и увидела ее.

Зиновия распласталась на полу животом. Ноги разбросаны по полу, руки согнуты в локтях, ладонями затылок обхватила. Трясется, стонет. Бормочет невнятно. Вера прислушалась. Да, говорит! Ей, Вере. С ней. И ей все равно, слушает, слышит ее Вера или нет.

— Я тебя... к музыке ревновала... не только к нему... к поганцу... а к песням... к успеху!.. мне казалось — ты у меня успех крадешь... что все восторги лишь тебе достаются... А я, я одна... хотела успеха!.. невероятного, громадного... чтобы мне одной доставалась вся слава... А тут — ты... под боком... как бельмо на глазу... да еще как поешь... так поешь — лучше меня... лучше... лучше... все сердца сразу в плен берешь... а меня уж никто и не слушает... и никто на меня не смотрит...

Вера, надсадно кашляя, прижав ладонь к искалеченному удавкой горлу, с трудом спустила ноги с кровати, хотела идти — и упала рядом с лежащей на полу Зиновией бессильным тяжелым снопом.

Она хотела ее обнять.

И обняла.

Теперь она, Вера, всею тяжестью своей, жесткой, угластой, легла на Зиновию. И придавила ее к паркету, так срубленное дерево придавливает раненого зверя.

— Ты мне все говори, все, все... я все выслушаю... все пойму...

— А... простишь?..

Зиновия повернула лицо, она щекой лежала на полу, ее рот безобразно расплющился, губы, набухшие вином и рыданиями, еле шевелились.

— Бог тебя уже простил...

Лежа под Верой, обнимающей ее, Зиновия, задыхаясь, лепетала:

— Я!.. я гадина... прощения нет мне... Я ведь давно хотела тебя убить!.. очень давно... еще в Иерусалиме... когда к тебе все шли и шли, и вот я думала: вот она святая... ее все любят, превозносят... к ней все идут на поклон... и помощи у нее просят, и руку ей целуют... а у меня никто помощи не просит, только вопят мне: песен!.. песен!.. пой нам!..

пой быстрее, да все самое лучшее, мы тебе — денег заплатим!.. Я свой дар обращала в деньги... в одни только деньги... и не стыдилась... Бесстыжая я была... и есть... сгорел мой стыд синим пламенем!.. а когда, я и не заметила... Не... заметила...

Сотрясалась в бешеном плаче.

Вера быстро, жарко целовала ее затылок. Потную шею в вырезе рубахи, спину, плечи.

— Ну Зиновия... ну успокойся, успокойся... все ведь кончилось, все... ужас прошел... давай Господу помолимся...

Одним резким движением Зиновия перевернулась с живота на спину, отбросив в сторону Веру, и Вера разжала объятия и испуганно притиснула руки к груди.

— Господу?! Господу... Да разве же я сейчас на Господа имею право! Я же — убийца!.. чуть ею не стала...

— Господь пришел не к праведникам, но к грешникам, — хрипло и твердо сказала Вера.

Зиновия лежала на полу лицом вверх. Смотрела на Веру.

Вера смотрела на нее.

Зиновия смотрела на Веру глазами растерянными и все еще ее ненавидящими. И себя — ненавидящими. За то, что грешница; что пьяная дрянь; что не удержалась, не устояла.

Вера смотрела на Зиновия спокойно и мрачно. Так смотрит мать на сына, что убил ближнего своего; и не прощает его; и тут же прощает, ибо она — мать.

Она только мать, и ей нельзя убить и затоптать своих детей.

Ее дети согрешат, убьют, предадут, а она простит их, а если они не способны каяться, она сама покается за них.

— Зиновия... Зря ты пила вино...

— Не вино, а коньяк, — страшно усмехнулась Зиновия.

— Ты простудишься так лежать. Вставай.

И Вера протянула Зиновии руку, а потом вторую.

Она протянула ей обе руки.

Зиновия схватилась за руки Веры, Вера потянула ее вверх, все вверх и вверх и так подняла ее на ноги. Обе стояли, шатаясь, будто обе пьяные. Обнимали друг друга, поддерживали друг друга, чтобы ни одна не упала.

— Сядем... ноги слабые, как ватные...

Сели на Верину кровать.

— Верка... — Зиновия опять еле плела языком. — Ты вот что спишь на каком бездарном ложе... жестком, сволочном... как в монастыре... тело твое... не отдыхает нисколько...

— Не надо, чтобы тело наслаждалось, — Вера закрыла глаза, тяжело дышала. — Надо, чтобы дух работал.

— Вот у меня работал-работал... и отбросил копыта...

— Не кошунствуй. Тебе надо попить воды. И мокрое полотенце на лоб. Я сейчас... принесу...

Вера встала и с трудом побрела в ванную комнату. Появилась с намоченным полотенцем и с кружкой холодной воды.

— Пей!

Зиновия покорно пила.

Вера обвязала ей голову мокрым полотенцем.

— Сиди так. Через полчаса хмель выветрится. Ничего не говори. Просто смотри на меня.

И Зиновия послушно, как собака, смотрела среди ночи на Веру, на ее бледные щеки и капли пота, что катились с висков на щеки, на развитые и мокрые ее волосы, на мо-

настырский платок, сползший на плечи, — им Вера повязывала голову на ночь. На дрожь ее пальцев, на коричневую букашку малой родинки над верхней губой. Смотрела Вере в широко раскрытые под высоким лбом глаза.

А из глаз Веры на Зиновию смотрела недавняя смерть.

Вера ее увидела и переплыла, и глаза ее все еще смерть отражали.

Но жизнь подносила свое серебряное-золотое, угрюмое в угрюмой ночи зеркало прямо к Вериным глазам. Из живой амальгамы вливалось все живое в Веру, питая, насыщая. Прощая.

— Зина! Тебе лучше?

— Да, Вера.

— Я отведу тебя спать? Надо уснуть. Хочешь не хочешь, а надо.

— Может, лучше я с тобой посижу?

— Нет. Не надо.

— Ты меня не бойся. Я уже...

— Я знаю. Я не боюсь. Просто надо отдыхать. Завтра работа. Репетиция. А после-завтра концерт.

— Я знаю. Вера! Прости меня. Простишь?.. простила?..

— Когда ты это делала, я тебя уже простила.

Зиновия упала головой в колени Вере.

— Прости... святая... еще раз!.. и еще!.. и каждый день... все прости и прости... все прости и прости...

Вера улыбалась, и слезы длинными белыми, в ночи серебряными полосами разрезали ее полынно-бледное, жесткое лицо.

— Бог простит. <...>

* * *

«Этот концерт будет последний», — сказала Вера Зиновии.

«Как — последний?» — Зиновия все еще не понимала.

«Очень просто. Я больше не буду петь».

«Со мной?!»

«Ни с тобой. Ни с кем».

Зиновия пожала плечами: блажь, настроение такое!.. вот пост закончится, и наступит Рождество, и все вкусно поедят, и Верочка тоже, и все плохое отлетит, как с белых яблонь дым!.. вот ведь она, Зиновия, даже смерть сына пережила, а ей-то, ей-то что страдать?.. никого особо не теряла, никого не любила... ну да... не любила... и не полюбит... сухарь несчастный, Верка, сухая косточка... галета иерусалимская... Готовились к концерту. Складывали ноты в кейс. Зиновия шептала себе под нос, повторяла тексты, чтобы не забыть. Бросала в косметичку пудру, патроны помад, духи, бусы, серьги: артистка на сцене должна радовать глаз зрителя! иначе грош ей цена в базарный день! Зиновия пялила на ноги тесные туфли, морщась, неуклюже бегала в них по комнатам: изнашивала. «Ох, красотища!.. да малы немного. Верка!.. я в них водки налью, они по ноге и расправятся!» И правда, наливала в туфлю водки, хохотала: «Теперь от меня горьким пьяницей пахнуть будет!» Вызвали персонального шофера. Обе, и Зиновия и Вера, сошли по лестнице вниз, машина ждала у подъезда. У Веры было чувство, что она спускается в преисподнюю.

— Судия восседает на огненном престоле; окрест Его море пламени, и река огненная течет от Него подвергнуть испытанию все миры. И в людей вложил Он огня Своего, чтобы не попалил их оный огонь, когда воспламенит Он всю тварь и будет очищать ее как в горниле...

— Что ты там бормочешь, Верочка? Быстро в машину! Все рассчитано по секундам!

И они втиснули свои тела в лаковую красивую железную повозку, и покатила железная повозка по каменным улицам, неся обеих женщин в своем брюхе: чтобы родить для толпы людей, собравшихся в блестящем холодном, как ледокол во льдах, зале, единственную, жаркую музыку.

Как они пели на том концерте? А разве музыку можно — словами? Слово тоже может стать музыкой, но для того, чтобы это произошло, надо умереть и еще раз родиться. Несчастен тот, кто не умеет умирать. Если ты в юности прошел через смерть, она не страшна тебе и в старости, она — твой друг. Господь прошел через смерть, и музыку Его бессмертия слушает весь мир вот уже две тысячи лет. И вечность будет слушать; Он сам сделал Свой выбор. Не убоись ничего, человек! Ты ведь создан по образу и подобию Божию. Зачем ты сам себе врешь, что ты не музыка? Ты — музыка! И ты — Бог!

Но только тогда, когда ты не глумишься над Ним, и не плюешь в Него, и не вопишь на всю грязную площадь: «Распни Его!» — а молишься даже не Ему: молишься — за Него.

Они обе вышли на сцену, и поклонились, и запели. Оркестр сливался с их головами, вместе, сияя, голоса живыми реками бежали к океану. Океан сиял, перекачивал волны вдаль. Розовый и золотой прибой топырил пенные гребни. Необъятная музыка колыхалась, звала. Ждала. Ее жаль, так жаль было покидать. И разве Веру кто просил это делать? Ее просто вели, и она шла.

«Господь, спасибо Тебе, что Ты ведешь меня. Спасибо Тебе за волю Твою. Я исполнила свое дело здесь, и я опять должна срываться с места и лететь. Прости меня, если тут было что не так!»

...руку твою сжать... так крепко, до кости сжать...

...я твое дитя. Ты моя мать.

...я твоя мать. Ты мое дитя.

...я тебя родила, в небесах летя.

...ты моя подруга. Колющее жнивье.

...ты дрожащее, живое зеркало мое.

Она не слышала, как катился к их ногам прибой аплодисментов и им кричали «браво» и вызывали на бис. Зиновия брала ее руку, пожимала, у них были условленные пожатия: два раза — это на бис песню поем, два коротких, одно длинное — поем на бис, но не эту песню, а другую. А одно пожатие — это значило: ничего не поем, устали, просто низко-низко кланяемся! Два раза, песня на бис. А какую мы пели? Только что? Я не помню. Не помню!

— Зина... что поем...

Шепот беззвучный. Зал кричит и рукоплещет.

Оркестранты стучат смычками по струнам.

— Как — что... только что пели... память отшибло... «Молитву»...

— А, «Молитву»...

И они пели «Молитву», недавнюю Верину песню, и в зале опять плакали люди, потому что люди, на краю смерти, хотели жизни, и чужие нежные голоса им ее давали, полными горстями, и люди ели и пили эту жизнь, и готовы были пить и есть всегда, и дорого за нее заплатить, даже не деньгами, нет, чем-то гораздо более драгоценным и важным: возможно, даже жизнью самой, — с этой музыкой они не боялись умереть, и это была этой музыки главная тайна, ни у кого не хранилось за пазухой такой тайны, только у этих двух странных женщин, одна монашка, другая царица, пышная и красивая, как Екатерина Вторая, да что вы сочиняете, простая русская баба, на крестьян-

ку похожа, да они обе крестьянки, глядите, какие грубые руки у той, что в монашеском платке, и лицо у ней грубое, будто топором стесанное, да, лицо как скала, к такой не подступишься, — а голос, голос! Он же летит сквозь тебя! Насквозь! Он тебе... состав крови меняет... эти песни слушаешь — и другим человеком станешь...

— Моя молитва — мое обьятье. Моя молитва — любовь моя.

— Снимаю жизнь я, как будто платье!.. устала в тесной одежке я...

Они обе пели слова Веры и песню Веры, и Вера пела ее, как чужую, Божию, а Зиновия пела и сладко завидовала: вот гляди ж ты, какое чудо сподобилась написать, моя преподобная.

Вера пела: «Устала, Боже!.. уплыли силы...» — а ее собственную музыку и ее собственные простые, земные, жалкие слова заслоняло это, великое: «Суд без милосердия и огонь неугасимый ждут нас. Помни о сем, душа моя, позаботься избавиться от сего и возьми с собою добрые дела в дар Судие». Иная музыка, мощнее и величавее, печальная, необъятная, огненными столбами восставала перед нею до неба, и была эта музыка гораздо сильнее и чище всех на свете человеческих музык; и только немногие из людей могли такую музыку услышать и нотами — записать. И ночными, неутешными слезами — оплакать.

— Ни от сумы... ни от тюрьмы...

— Я жизни Божьей... я жизни милой...

— Я жизни светлой — молюсь...

— Из тьмы...

Песня закончилась, две певицы стояли на сцене и не могли ни говорить, ни петь, ни кланяться — силы их все, до капли, были выпиты музыкой, которая больше не повторяется в жизни. Люди встали с кресел, поднимали над головами руки, хлопая. Плакали. Улыбались. Кто-то крестился. Кто-то лицо ладонями закрывал. Густой гул стоял в зале. Обе женщины стояли недвижно и шевельнуться не могли. Вера закрыла глаза. У нее было чувство, что ступни ее приподнялись от пола и она повисла в воздухе.

— Вот это успех, — шепнула Зиновия.

Шепот этот отрезвил Веру. Она повернула к Зиновии голову.

— Давай поклонимся.

Они взялись за руки, как дети, и поклонились — раз, другой, третий.

Зал неистовствовал. <...>

* * *

Вера не говорила Зиновии об этих странных встречах. Мимолетных, беглых; вроде бы незначущих; быстрых и холодных, как мрачный дождь.

Она понимала: спокойное свидание и беспокойная беседа — все, что она могла подарить N на этой земле. Что будет там, потом, в небесах, никто не знал. И она знала меньше всего. Облака могуче и грозно ходили в небе; в этих призрачных ладьях плавало, плыло время.

Иногда N приносил Вере подарки. Она долго вертела в смущенных руках красивый браслет из крупной яшмы и темно-зеленого малахита — и, повертев и насладившись его созерцанием, возвращала его, не глядя в лицо N. А потом все-таки вздергивала голову и пыталась на N глядеть. Она не видела его лица. Оно плыло мимо, как облако. Попадало в слепое пятно. А может, она его просто не запоминала.

Ночами пыталась, закрыв глаза, вспомнить, и попытка умирала, не родившись.

N пригласил ее в очередной ресторан. Она пыталась отказаться: «Да нет, давайте лучше погуляем!» — «Сегодня метель, — сурово произнес он, и на Веру будто айсберг надвинулся, — вы простудитесь, я хочу сберечь вас».

Она запомнила этот вечер на всю жизнь. Поверх рясы она надела серую беличью шубку — ее ей купила Зиновия в бутике около Красной площади, задорого. Произведение знаменитого кутюрье, последний писк столичной моды. Вера пыталась шубку не носить — Зиновия насильно надевала ее на Веру. Туго завязать под подбородком апостольник, вот и вся защита от ветра и снега. Подумала, стоя перед зеркалом и чуть качаясь, и напялила высокую, как митра, лисью шапку из алмазно-блесткой чернубурки. «Звери, — подумала, — жаль зверей». Сердце сжалось, потом застучало. Когда Вера поворачивала ключ в замке, сердца в груди будто не стало: под ребрами зияла пустота.

Она обогнула дом, впечатывая в нападавший толстым белым слоем снег узкие сапожки, и тут прогудела машина — раз, еще раз. Вера вздрогнула и оглянулась. Водитель уже открыл дверцу, ждал ее. Она хотела сесть вперед, а потом вдруг захлопнула переднюю дверь и распахнула заднюю. Не хотела, чтобы N видел ее лицо слишком близко.

Он видел ее в зеркале. Улыбался. Потом мрачнел. Красивое богатое авто бесшумно скользило по широким и тесным улицам, светящимся нежным снегом. В машине они почти не говорили. N вышел первым и подал ей руку; Вера подцепила рукой в варежке полу шубки и подол рясы и поймала насмешливый взгляд мужчины — детская варежка, диво дивное.

— Я зимой всегда ношу варежки, — прошептала Вера, а N стоял с ней рядом и сжимал ее руку.

Провел на крыльцо. Сияли громадные круглые, лунные фонари. Вера поскользнулась на мраморной ступеньке. N поймал ее, когда она уже падала.

— Вы фарфоровая и можете разбиться.

— Я? — Вера задохнулась от негодования.

— Честно. Я все время за вас боюсь.

— Я монахиня, умею трудиться и могу постоять за себя.

— О, да вы почти что солдат. Вам легко будет воевать.

Они уже входили в стеклянное, зеркальное фойе. Он снял с нее шубку так, будто снимал платье. В зеркале она видела свое потное, залитое банно-вишневым стыдом лицо. Стояла столбом, не знала, куда и зачем идти, и N взял ее под локоть крепко и больно и повел вперед.

В огромном, будто тронном, зале стояли столы из карельской березы, полированные столешницы отбрасывали на лица гостей золотой свет. N указал на свободный столик у окна.

— Садитесь. Я заказал.

Сели, подбежала официантка, узнала N, угодливо склонилась, разулыбалась, как на карнавале. У официантки на худом лице торчали толстые губы, толще двух сложенных бананов.

— Вот меню! Выбирайте! Что будете на первое? Салатики у нас вкусные!

Вера сидела с каменным лицом. N выбрал все сам, не тревожил ее.

И все же спросил, осторожно и строго:

— Почему вы молчите?

Вера молчала.

— Почему вы все время молчите?!

— Не все, — сказала Вера, — я иногда и говорю.

Он скрипнул зубами и натужно улыбнулся.

— И пою, — добавила Вера.

Он взорвался.

— О да! Поете! Еще как поете! Без умолку! Тут вам рот не заткнешь!

На их столик оглядывались.

Включили тихую нежную музыку. Музыка заливала горящие внутренности теплым молоком. Омывала склоненные друг к другу головы, в ней тонули глаза и пальцы.

— Это поет Зиновия... нет... да!.. это мы поем.

N прислушался.

— Да. Это вы поете. Вы поете так, что мне хочется взорвать мир.

— Вы и без меня... без нас его взорвете.

— Зачем вы играете в монашку?

— Я не играю. Я монахиня в миру.

— Ишь! — Он дернул головой вбок. — Я вам не верю!

Вера пожала плечами.

— Я не расстрига. У меня есть постриг и есть обязанности; для меня весь мир теперь — монастырь. И мои послушания в миру — они такие же, как если б я жила в монастыре. И может... — она помедлила, — я туда еще вернусь.

— Черт подери! — громко крикнул N. Опомнился. Вытер потное лицо ладонью снизу вверх, от губ до лба. — Жарко здесь!

— Да, не холодно.

— Как вы говорите со мной!

Официантка подскочила с подносом, расставляла на столе кушанья, бормотала:

— Два салатика с тигровыми креветками, зернистая икра, так... арманьяк... бастурма турецкая... вот бокальчики, бокальчики...

— А как нужно, чтобы я говорила? Есть правила?

N сжал пальцами подбритые виски.

— Ну что вы как неживая!

Вера отвернула лицо. Слезы подступили внезапно и щедро. Она не хотела, чтобы он видел, как она плачет. Он все равно видел это. Слезы крупно, быстро катились по щекам, шее за воротник.

— Я сейчас уйду, — прошептала она сквозь слезы, беззвучно.

N схватил ее руку и поцеловал. На ее запястье отпечатались его зубы.

— Я не дрессируюсь, — шептала Вера сквозь рыдания, — я не ручная.

Он выпустил ее руку. Глядел в окно. По густо-синему, уже сине-черному московскому вечеру разудало плясала пьяная белокошая метель.

Когда он повернулся к ней, она увидела: его лицо медленно плывет к ней над столом, как охваченная огнем безжизненная планета.

— Давайте бросим всю эту чепуху. Страдать и прочее. Я вас позвал не для того, чтобы ахать тут и ручки вам целовать! Нет. Слушайте. Все серьезней, чем вы думаете... певица. Монашка! — N изогнул рот в мгновенной усмешке. — Они распускают обманные слухи. По всему миру! Что у нас ракеты давно умерли, состояние их ужасно. И они не смогут долететь, если вдруг что. Взорвутся прямо в шахтах. Они кричат... слушайте!.. просто вопят!.. во весь голос орут!.. что мы заложили во все страны мира ядерные бомбы и, когда надо, мы прикинемся любыми террористами и взорвем их. Песни и пляски смерти, мать их!.. О, простите, монашка. Вы же не переносите крепких словечек. А если я закурю? Вы вытерпите табачный дым? Только честно!

Вера наклонилась и вытерла мокрое соленое лицо подолом рясы.

— Что вы, вот же салфетки.

— Вытерплю. Курите на здоровье.

Она видела его руки, когда он шелкал колесиком зажигалки. Пальцы дрожали.

— Они врут, говорят гадости! Гадость на гадости сидит и гадостью погоняет! Столько злобы, это чудовищно! И эта злоба — нам, все подарки, весь змеинный яд — нам.

Кричат: эти заранее подложенные бомбы начнут взрываться, а мы тем временем нападём на Латвию! на Литву! на Эстонию! На Молдову! На Украину! На...

Вера взяла салфетку, глядела прямо в лицо N и медленно рвала салфетку, разрывала на мелкие части.

— Они кричат: вы обеднели! У вас нет денег! Промышленность ваша помирает! Торговлю мы вам перекрываем! А потом кричат сами себе: ребята, что мы теряемся! Хватит сюсюкать со злодеем! Россия — злодей! А кто-то должен взять топор и злодея — зарубить! Чего мы боимся?! Ядерной зимы?! Потеплее оденемся! Не так страшен черт, как его малютки! Все равно Россия гибнет! Гибнет, собака! Умирает под забором! — N схватил руку Веры и сжал до кости. — Распад! Тление! Они говорят... что мы гнием... разлагаемся...

Вера глядела прямо и мертво, глаза ее остановились, как у сомнамбулы.

— Мы, видите ли, Вера, мы — новые фашисты. И нам, новым фашистам, нужна новая война. Так они вопят, именно так. Мы хотим большой крови. Да, чтобы всюду лилась кровь. И не только. Чтобы все погибало в огне и надыхалось радиацией под завязку. И вся Земля стала — зоной! Наши люмпены их беспокоят. Наша беднота! Вопят: вы скоро начнете убивать и жрать друг друга! Именно поэтому вы строите полицейское государство! Да, так вопят, так, так...

Вера не шевелилась.

— Да вы ешьте, ешьте! — зло шепнул N Вере. — Вы же голодная!

— Я мяса не ем. Пост.

Она еле разжала губы.

— Проклятье! Ваш пост, пост! Всегда! Завтра мы все умрем. И вы вволюшку не поедите уже! Никогда! Вы хоть понимаете, что значит «никогда»?!

Вера взяла вилку в руку, нож в другую.

— А вы?

Отрезала от листа салата зеленый кусок, жевала, как корова. И опять глаза светло, твердо замерзали подо лбом.

— Я — понимаю! — Горько усмехнулся, опять рот кривил. — Я вот знаю, что я с вами — никогда... Ну и что? Я же — живу! А вот Земли не будет никогда — это уже хуже. Я их ненавижу.

— Кого?

Вера держала вилку, как скорпиона. N склонился над салатом и быстро, зверино пожирал его, будто век не ел. Остро взглядывал на Веру.

— Не притворяйтесь. Все вы понимаете. Ненавижу этих лгунов! Лжецов. Оборотней! Кто сам хочет войны, а желание ее развязать валит на нас. Котик сливочки слизал и на Машеньку сказал!

Она вздрогнула.

— Мне эту песню мама пела.

— А! Мама! Отлично. — Вытер рот салфеткой. — Матери, дети — все погибли! Какая ерунда! Думать, что кто-то выживет в такой войне! Идиоты. Дряни! Я их всех сам убью. Вычислю, найду поодиночке. Я — сам — террористом сделаюсь, чтобы эту мразь... с лица земли...

Вскинулся.

— Да если надо — да если надо!.. их, гадов, дряней, перебить!.. я сам — войну развяжу! Страшную! Мало им не покажется. Ненавижу! Нена...

Официантка подскочила, поправляла кудри за ушами.

— Вы звали меня?.. вот она я!..

— Нет! Не звал! Да! Звал! Несите первое! Грибной суп с телятиной. И второе сразу! Да, жаркое! И форель в белом вине! Сразу, я сказал!

Вера подняла руку ладонью вперед.

— Стойте! Не надо.

— Что — не надо?

— Ничего не надо. Я ничего не хочу. Это выброшенные деньги.

— Деньги?! — N встал, резко двинув стулом об пол. — Вы — о деньгах?! Мне?!

— Сядьте... что вы...

N, будто пьяный, рванул из кармана смокинга бумажник. Высыпал деньги на мясной мрамор плит. Швырял в стороны. Хохотал, блеснул зубами и белками. Официантки сбились в кучку, глядели обалдело, тряслись. Люди за соседними столиками возмущенно переглядывались. Кое-кто прижимал палец к губам: N узнавали.

— Ну же! Ну! Налетай! Подбирай! А на счетах-то у меня сколько! На счетах! Не счесть! Я и сам не знаю! А война будет — ничего не будет! Ничего! Ничего!

— Сядьте, — уже твердо, возвысив голос, сказала Вера.

N сел.

Официантки подбирали деньги, несли их к их столику, клали рядом с тарелками. N не смотрел на деньги. Он смотрел на Веру.

— Почему вы так ненавидите людей?

— Я? — На N будто дыбом встала шерсть. — Это они — ненавидят нас! Это я — в ответ!

— Ответная ненависть множит ненависть. Это закон.

— Ишь, законница!

Он тяжело дышал.

За соседним столиком хохотали и пели песню Зиновии и Веры.

«Они и не знают, что я тут, рядом с ними, сижу. А может, это не я. А маска меня, личина вместо меня. Тело, руки, ноги. А где душа? А и нету души. Тихо из мира уходи. Звезду туши».

На маленькой сцене вздергивали ногами девочки из варьете. Когда они прекратили плясать, вышел человек в туго обтягивающем тело костюме, обклеенном блестками, с огромным ручным питоном. Питон обвивал грудь дрессировщика, раскрывал пасть и высовывал язык. Посетители косились на человека и змею, кто-то громко захохотал, кто-то тонко завизжал и оборвал визг. Вера молча смотрела на человека, на питона у него на груди. «Валя», — прошептала тихо. Змея обвила человеку шею, и казалось, что это громадный пятнистый воротник. Раздались аплодисменты и крики: «Браво, маэстро!»

— Вы любите мир?

— Какой прямой вопрос! Кто ж его не любит!

— А войну — любите?

N сморщился.

— Глупостей не говорите. Кто же любит войну! Правда, все дети играют в войну. Всегда. Это природа. Человек должен убивать. Или — готовиться убивать. Лучшие солдаты — лучшие люди. Самые честные, благородные. Творческие. В дворянских семьях детей всегда выучивали на военных. Это было правило. А Красная Армия? Она же всех сильнее. Да! Сильнее! А все слабаки. На параде Седьмого ноября тридцать второго года на Красной площади Сталин пустил по брусчатке пятьсот танков! Новейшей модели. Мы — сильнее всех! Это истина. Не спорить! Цыц! Вы слышите — не спорить!

— Я и не спорю, — Вера тихо улыбнулась.

Кожа на лбу N подрагивала.

— Как хорошо, вы улыбаетесь. Вы меня не ненавидите?

— Нет. Вы сами себя ненавидите.

— Что вы порете чушь!

— Все остыло.

Вера указала на яства.

— К черту эту жратву. Вы поняли, зачем я вас позвал?

— Да. Чтобы сказать, что первыми войну развяжете вы.

— Кто это «вы»?

— А кто тогда мы?

— Что вы мне тут...

Вера сама взяла графин с коньяком и сама налила коньяк себе в бокал. А N не налила.

— Вы — любите — войну.

N смотрел на Веру исподлобья, изумленно.

— Ну... да. Да, да! Подавитесь этой моей любовью! Вы раскусили меня. Да я и не скрываю этого. Того, что война — это свято! Мы победили в последней войне. Самой страшной. Победа эта дорогого стоит. Кровью заплатили. Трупам и родину, и Европу устлали. Поднялось государство, да, понятно, что против Гитлера страна поднялась, но страна — это ведь народ, да, поднялся народ, как один все люди поднялись на врага, и что? Народ, он и велик тем, что побеждает. Ну вы, святая, монашка, гляньте на ваши иконы! На Георгия Победоносца! Змеюку копьём колет, убивает. Зло убивает! А вы что, хотите зло навек оставить жить на свете? Взлелеять?! Грудью хотите зло выкормить? Не выйдет! Да не только у нашего народа так. У всех народов так! Все народы идут к победе и за победой! Ах, да, вы, монашка, скажете: вражда, вражда — это от дьявола! Да не от дьявола это! От Бога. Война — Богом придумана! Так на свете положено, чтобы — война! Я, солдат, иду за своим генералом! Я беру оружие в руки и иду, так заведено! Так было всегда! И будет всегда!

— После будущей войны — не будет больше никогда, — жестко, сухо сказала Вера.

— Война, а в ней победа, это право на жизнь. На жизни! Война — это не смерть, а жизнь. Да, что вы так пялитесь на меня! Жизнь! Самая настоящая. Война — это новая наша земля. Завоеванная. Это люди, они на этой новой земле селятся, вспахивают ее, засеивают и говорят, живя на ней, на своем языке. Язык — народ! Вот — жизни! И хороводы водят, и песни поют! И баб в постели свои кладут, и детей зачинают и рожают. Жизнь, а что другое?! Да даже для того, чтобы картошку в золе испечь или рыбы в реке надергать и уху сварить, земля нужна, где картошку ту вырастят и рыбу ту изловят! Земля! Своя! Завоеванная. Или — отвоеванная! Другого пути сделать землю своей — нет! Ну ведь бьются мужики — за бабу! А за вас, монашка... мне даже не с кем побиться...

Вера слушала. Молчала.

И N спешил говорить, выговориться.

— Война! Вы морщитесь: фу, война! Войнушка! Опять война! Кому война, а кому мать родна. Вы только прикидываетесь вселюбящей. На самом деле вы тоже ненавидите. Вы ненавидите войну! Она для вас как ядовитая гадюка. Такой ядерный гад. И ползет, подползает. И вам надо раздавить его сапогом. А чтобы не укусил. Ну ведь так? Да? Так где вы тот сапог возьмете? Или тот булыжник, которым гада того — скорей прихлопнуть? А! Да! Правильно! В руку камень-то возьмете! И — занесете, и опустите. И — убьете! Да, да, убьете, вы, умоленная, вы, миролюбка! Кто кого! Или вас убьют, или вы убьете! Так мир устроен. И чтобы вам — жить, вы — убьете. Вот — война! Ее смысл! И что? Обвинить ее? Оправдать? Встать, суд идет! Сто, тысячу раз в истории уже судили войну! А она неподсудна. Все никак ее не засудишь, в тюрьму не посадишь! Или... стойте!.. вы дадите змее той ядовитой — себя — укусить? И не шевелитесь? Во имя жизни чужой гадины — себя — убьете, а ее — не убьете?

Вера поднесла бокал ко рту. Прикоснулась к нему губами. Ее глаза опять налились слезами.

— Не знаю.

— Видите! Вы — уже — не знаете! А, проняло! Проняло вас! И монашку проняло! А война, ведь она такая разная! Разномастная! Сто лиц у нее! Сто масок! Одну сдернет, под ней вторая. Война, она лепит людей! Делает их! Рождает. Там люди становятся людьми! Дымы, пожарища, выстрелы... и ты должен быстро сделать выбор. Жертва ты? Или герой? А может, ты подлец? Оборотень? Зверь ты чудовищный, пожиратель падали? Предатель ты и из окопа своего в окоп врага ползешь, чтобы ему все наши планы выдать, все наши карты и позиции... Война, в одном котле жизнь и смерть... и это такой восторг! Вы, монашка... вы даже не представляете себе, как сладко жить, когда вокруг тебя пули свистят и все пылает! Ты жив — в сердцевине смерти. И это такое чувство, такое... Полнокровнее него я ничего не знаю! Может, если бы младенец вспомнил, как он родился, шел на свет головкою вперед, в крови, ужасе и тьме, и адской боли, и лютом страхе, и мог бы человек взрослый, жизнь проживший, об этом чувстве вспомнить, рассказать про страшные роды — вот это, наверное, сравнимо с войной. Мы — посреди войны — рождаемся! Мы — все — дети войны! Вы понимаете это, монашка вы благодная?! А! вам бы автомат Калашникова в руки! базуку! да просто — связку гранат! И приказ бы у вас над ухом: брось те гранаты под танк, да и сама бросься, ведь этот танк сейчас надвинется на твоё село, подомнет под гусеницы стальные, колющие твой родной дом и расстреляет твоих детей, твоих стариков! Ну?! — командир тебе крикнет. Что ж ты ждешь?! давай!..

Н рубанул рукой воздух.

— А вы сами на войне были?

Голос Веры был тише шевеления водорослей под водой.

Н осел, обмяк. Молчал.

Молчал долго. Вера допила коньяк из бокала. С удивлением глядела на пустой бокал. Двумя пальцами взяла розовое брюшко креветки, подхватила губами. Н смотрел на ее губы.

— Да. Юношей — в Афгане. Потом в Чечне. Недавно — в Сирии.

— А на Донбассе?

— Донбасс пусть воюет без меня. — Усмехнулся. — Вру, вру я все вам. И там был. Недолго. Здесь у меня дела.

— Я догадываюсь.

— Вы, — мышцы его лица напряглись, и кожа на лице мгновенно расчертилась странными морщинами, письменами легкого презрения, — вы женщина и монашка, вы не можете даже догадываться какие. То, что я на виду у всей страны, еще ничего не значит. Мы с вами вот сидим в обыкновенном ресторане, да нет, правда очень хорошем ресторане, на всю Москву он славится, и я...

Вере надоело слушать про ресторан. Она невежливо перебила Н:

— И что? Война — по-вашему если, так выходит — лучшее, высшее состояние человечества? И — человека?

Н прямо, нагло смотрел ей в глаза светлыми, ледяными глазами.

— Да. Это так.

— Но ведь это ужасно. Это против Бога, — тихо сказала Вера.

Н рассмеялся. Смех его раскатился звоном разбитого ледяного хрусталя.

— Бог? Бог-то как раз и положил на земле все так! Как оно есть! Это порядок вещей. Люди воюют, так Бог сделал. А Он, как вы-то думаете, Он — что, глуп? Он — мудрее всех нас! И прошлых, и будущих! А мы лишь исполняем Его волю.

— А вы не думаете, N, — она назвала его по имени-отчеству, — что мы исполняем не Его волю?

— А чью?

— Вам сказать чью?

— Ну, скажите!

Не глядя, он цапнул графин и щедро плеснул себе в бокал коньяка.

— Дьявола.

— Дьявол! Дьявола! Ах! — Он опрокинул в рот весь бокал, проглотил коньяк, как водку. — Да что вы говорите! А вы откуда знаете? С дьяволом общались?

— Да. Я видела его. И говорила с ним.

— Ну и... — N, как она давеча, подцепил пальцами креветку из салата, медленно жевал. Его радужки ледяно и зло горели. — Каков он, ваш дьявол?

— Он — это я сама. Он во всех нас.

N по-мальчишьи присвистнул.

— Эка куда хватили! И во мне, что, тоже?

— И в вас.

— Где же тогда Бог? Гуляет?

— И Бог в нас.

— Оба, что ли, в нас?

— Да.

— Тогда... — Искал глазами воду: пить хотел. Щелкнул пальцами. — Если они оба в нас, тогда — кто же мы такие? А?

Вера молчала и глядела на него.

Он, глядя ей в лицо, бросил:

— Вы похожи на икону! Ешьте больше! Вы красивая, зачем вы изнуряете себя?

— Зачем вы нарочно грубы со мной? — спросила Вера почти шепотом. — Зачем вы злитесь, кричите? Про войну я все поняла. А вы — поняли? Зачем эта злоба? Вы же сами с собой воюете.

— С дьяволом! — ухмыльнулся N.

Потом опал, съежился — тестом, в которое ткнули пальцем.

— Вы заставили меня думать. Я буду думать.

— О чем? О войне?

— Да.

— Хорошо.

Он вскинулся.

— А вы?! Да, вот вы! Вам бы хоть разик, разочек побывать на войне! Тогда бы вы мне проповедей не читали. Чтобы вас волокли бы после разрыва снаряда в окоп! Под мышки бы подхватили, тащили по грязи. А кругом — земля черными веерами! И гложешь, гложешь от взрывов! И свалили бы вас в окоп, а сверху — опять разрыв, и засыпало бы вас землей, и стряхивали бы ее с лица, со щек, глаза, землей залепленные, открывали, а уши болят зверски, контузило, и кровь из носа течет, из ушей, и рукой вытираетесь, и плачете. Да, плачете! Потому что не мы побеждаем, а на нас враг насаждает! И, может, сейчас мы все тут сдохнем разом и не успеем нашу землю защитить! А, скажете, а если не нашу?! Да плевать, чью! Враг есть враг! Врага — уничтожить! И весь сказ! Тут не до философий! Не до жалости. И предатель от нас, Иуда, уже пополз в блиндаж врага! Нас — предавать! Так надо врага раздолбать во что бы то ни стало. Пусть все мы погибнем, а наших людей, нашу землю — спасем! И ты не будешь думать, станешь или нет героем. Ты должен быть героем! Быть героем — это твоя работа. Она прекрасна. Прекраснее всех других работ на земле. Вот — война!

— Война, — эхом повторила Вера.

— Ты убиваешь, чтобы защитить жизнь. И вы не нюхали этого чувства. И вряд ли понюхаете. На войне вы не будете перевязывать солдат. Стрелять из пулемета, из огнемета. Вы будете, как серенький зайчишка, прятаться в подвале, на дне руин. А впрочем, может, и будете воевать! И спасать! Вы же монашка. Вы же обязаны спасать!

— Спасать...

— Что вы как попугай!.. Давайте выпьем. И закусим. Почему вы ничего не едите?

— Я... ем.

— Вранье! Я же вижу. Девушка! — Он опять щелкнул пальцами, подзывая официантку. Официантка подбежала, шаталась на каблуках-шпильках, растягивала в улыбке густо накрашенный рот. — А жаркое наше где?!

— Я не буду, спасибо, — мотала головой Вера.

— Пост! Пост! Опять пост. У вас всегда пост!

— Хватит, — сказала Вера.

— Что — хватит?

— Хватит клоунады. Будьте самим собой.

Н застыл и так сидел минуту, две, больше. Красногубая официантка принесла дымящееся мясо. Н отодвинул от себя тарелку.

— Как вы, так и я. — Он протянул руку по столу и взял ее руку. Сжал. — Я хочу, как вы. Я ничего не знаю. Я буду думать про войну. Но и вы подумайте. Чтобы нас не убили, первыми должны убить мы. А по Богу вашему, по Его заветам, что, мы должны быть жертвой и не рыпаться, не шевелиться, сложить ручонки на груди, закрыть глаза и приготовиться к удару? Слишком большая жертва-то, такая наша огромная земля!

Вера едва слышно ответила на его пожатие.

Он улыбнулся.

— Спасибо. А я думал, вы вообще мертвец.

— Почему?

— Как все верующие.

— А вы сами — веруете в Бога?

— Да. Нет! Я сам не знаю. Я крещеный! Православный! У меня над постелью... образок Николая Угодника висит...

Помолчал.

— А бабушка у меня — мусульманка была... татарка...

Сидели, сжав руки. Вокруг них вспыхивал пьяными огнями, мерцал, двигался и плыл, вздыхал и выпивал, и бил посуду, и засыпал, и буянил ресторан, и улыбался во весь рот, и блестел голыми плечами и нитками поддельных жемчугов, и пел, и мычал, и звучал, и утихал, и гас, и опять вспыхивал, взрывался, и автоматные очереди били, и трассирующие пули летели огненными зернами, и воздух накалялся и остывал, и разворачивались смоляные веера подземной, гробовой грязи, и пахло дегтем и соленой кровью, и война глядела им обоим в лица, и красные, волчьи зрачки ее расширялись, и на красное их дно валились города и страны, а они глядели друг на друга, и Вера понимала — да, это любовь, это настоящая любовь, такой на мирной земле не бывает, значит, она тоже на войне, и надо его, раненого, перевязать и спасти, а бинта нет, и марли нет, и спирта тоже, есть очень дорогой коньяк, и он просит пить, и надо дать ему пить, из кружки, а кружки тоже нет, ну, значит, из рук, из сложенных черпаком ладоней, вот так, так, пей, мой соболенок, волчонок мой, мой — человек: встреченный в жизни, полюбленный в смерти, да, так бывает, и что?

Из руки в руку перетекало пьяное счастье. Чужие люди кругом гомонили. Война взрывала время. Наступил миг, и война убила время, и оно упало, раскинув руки, лежало в луже собственной крови, и смотрело в небо ледяными глазами, и остановилось. <...>

* * *

— Спасибо тебе за все. Я вернусь в монастырь.

— В Иерусалим?

Вера погладила лежащий на столе кирпич ржаного хлеба, как живого домашнего зверя.

— Вернусь. Только не в Иерусалим. Иерусалим — везде. Он всюду. Он такой же земной, как и Небесный. И я... Зиновия, знаешь... я... пойду, пойду... пойду... и пойду. И приду в Сибирь. И там сделаю свой монастырь. Соберутся люди вокруг меня! Соберутся, я верю! И будем там молиться, плакать за всех, лечить всех, любить.

Зиновия держала на руках белого подросткового котенка. Чесала ему за ухом. Котенок мяукнул, Зиновия сердито сбросила его с колен.

— Лечить... Любить... А ты будешь там петь?

— Буду.

— И наши песни?

Вера вздохнула.

— Это мирские песни, Зиновия.

— И даже «Молитва»? Даже она?

Вера молчала.

Зиновия щипала кружево рукава. Будто гитарную струну.

— Что молчишь?

Котенок мяукал: есть просил.

— Хочу... и молчу. — Вера устыдилась. — Прости меня, Зина.

— Бог твой простит!

Зиновия встала и подошла к окну. Глядела на снег: он медленно падал со страшно, фосфорно светящихся над огромным городом, туманных небес.

Облака бродили по небу, слепые призраки несбывшегося.

Далеко внизу горели, вспыхивали и гасли жестокие глупые рекламы.

— Слушай... лучше спой... напоследок... ее...

Вера выбралась из-за стола. Выдернула край рясы из-под ножки стула. Стул упал. Она его подняла.

— Прости, Зиновия.

— Да что ты все: прости да прости! Ты лучше пой!

Вера глубоко вздохнула. Песня полилась.

— Моя молитва — мое объятье! Моя молитва — любовь моя... Снимаю жизнь я, как будто платье... Устала в тесной одежке я. Устала, Боже... нет больше силы... Ни от сумы... ни от тюрьмы... Я жизни Божьей, я жизни милой, я жизни светлой молюсь из тьмы.

Зиновия, глядя в окно, пела вместе с Верой. Ее мокрое, светящееся тайной болью лицо отражало бесстрастное, алмазное оконное стекло.

— Я жизни Божьей... я жизни милой... я жизни светлой — молюсь!.. из тьмы...

Они обе спели свою последнюю песню. Общую песню.

Вера туго затянула на шее черный апостольник. Обтерла ладонями лицо.

Оно тоже, как у Зиновии, тихо светилось, залитое прощальными слезами.

— Если надумаешь, слышишь, Зина, вдруг в мире досыта наживешься... ко мне прийти... приходи... ты меня найдешь.

ХОЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ВОЙНА

Вера не знала, летит она или идет, едет или не движется: стоит, как вода в колодце. Вера перемещалась, но не шевелилась; устремлялась, но замирала и ждала.

Мир шумел и крутился вокруг нее, обтекал ее, как остров. Она же не делала никаких усилий, чтобы этот мир преодолеть.

Пространство превратилось во время. И это было так странно. Горизонт сиял и вспыхивал, а потом гас за кромкой тайги. За черными тенями и каменными крыльями огромных городов. Вера не узнавала ни городов, ни селений; она шла по земле, а ей казалось, это земля идет по ней.

Вера возвращалась в Сибирь, и ей казалось невозможным покинуть этот мир прежде, чем она нащупает ногами сибирскую землю, ляжет на нее грудью и животом и обнимет ее сильными руками: сколько сможет. Она, возвращаясь на родину, несла свое время с собой в своей забытой скитальной котомке, в вечном своем, ветхом детском ранце, и растерянно оглядывалась назад: где он, мой святой Иерусалим?.. — и глядела вперед, будто назад, туда, за оком оставленной Святой Земли.

Она иной раз осознавала, что возвращается, и тогда ее обнимала тревога: найдет ли живыми тех, кого любила и знала? — а ее, узнают ли ее? вспомнят ли?.. — а иногда забвение туманом заволакивало горечь ее возвратного пути, и тогда ей хотелось плакать, просто плакать, как простой бабе.

И она садилась при дороге на скамью ли, на камень, на земляной холм, да просто на траву, а не росла трава — так на сухую либо сырую и грязную землю, на приречный песок, и плакала.

К ней, идущей в черной длинной рясе, подходили люди: благослови, матушка! За версту от Веры веяло иночеством. Люди припадали к ее руке, снизу вверх засматривали в ее лицо: а ты, случаем, не прозорливая, странница? Вера понимала, чего хотят от нее люди. Они хотели утешения.

И она давала им утешение; и благодарили ее люди, пусть даже безмолвно.

Когда она, поклонившись им, уходила от них дальше, вперед, иные старики вослед ей крестили ее.

Глядели на ее старый скитальный ранец у нее за спиной.

А иные люди глумились над ней, прогоняли ее, грозили ей кулаком и даже плевали в нее.

Она улыбалась: «Люди, спасибо, вы ненавидите меня, Христа тоже ненавидели и били, а потом казнили, а я жива, значит, еще потерплю. Еще побреду».

Вера, возвращаясь, видела: веры на ее земле гораздо больше, чем она себе представляла. Она мнила так: вера умерла или уже умирает, безбожие захлестнуло и утопило людей, ни к чему им оказался Бог и служители его, кто кричал о мракобесии, кто о несметных богатствах Церкви, а рядом шептали верные: настали последние дни, уже делят нас всех на овец и козлищ, и права была старушка Расстегай, что однажды, за давним чаем, просыпала перед Верой мелкие семечки слов: «Однако людишки как пьяны нынче, не понимает никто, чё деется! А деется, Верушка, вот чё: растеряли мы веру в Бога Господа, как пить дать, растеряли! И не соберем в котому, да где ж завалилась, миленька, та котомка?!» Вера тогда не соображала, о чем Расстегай ей бормотала. Теперь она понимала все.

И не умом понимала: кровавой горечью сердца.

И даже не им, не своим земным, больным, резко бьющимся, а будто кто-то Небесный за нее все знает, понимает, а ей, медленно по земле бредущей, только ясные картины в облаках показывает.

«Спасибо, Господи», — шептала Вера пересохшими губами.

Она в путешествии ела мало, привычная к постам; чаще ей хотелось пить, и она стучалась в низкие окна домов или изб, жестами показывая: пить! — и на нее махали рукой, или задерживали штору, или показывали язык, но чаще выбегал из дома мальчик с кружкой в руках или выбредал сутулый старик, на снег — в одной рубашке, оглаживая белую бороду, с початой бутылкой минералки, и протягивал Вере, и пила она. И благодарила, кланяясь низко.

Она шла, как во сне, возвращалась, поминутно благодаря Господа за легкий ход по земле, за то, что снова идет по родной стране: ее земля казалась ей, при всей непонятной жесткой враждебности, теплой и нежной под ногами, и воздух она грудью вдыхала сладкий, даже если это был горький бензинный дух. Истосковалась! Только теперь поняла как. Но святой Иерусалим по-прежнему был с ней, рядом с ней и в ней. Он просвечивал сквозь густо-синие и медвежье-черные грозовые облака. Светлой храминой нависал над утлым придорожным кафе, над серым холщовым полотном дороги, ведущей на восток.

Вера шла на восход солнца, чуть прихрамывая и улыбаясь солнцу, даже когда его не было на небосклоне, и часто ночью шла, она ничего не боялась, ведь она уже прошла через смерть, и она встречала солнце грудью, блаженно поднятым навстречу лицу — и солнце брызгало в Веру лучами, счастливо приветствуя ее.

Она видела раненых в старой забытой войне и раненых новых войн, с перевязанными свежими бинтами руками и ногами, и хромали искалеченные люди, и кричали ей хрипло: «Эй, подойди, монашка, если не трудно!.. благослови и помолись за нас!..» — и Вера подходила к воинам, к совсем юным солдатам, и широко крестила их, и в землю кланялась им, и тихо читала над их покорно склоненными головами молитву. Один такой раненый солдатик, бритый, как из тюрьмы, голая кегля башки уже обрастала колючками, нагло, по-бандитски скалясь, бросил ей: «Ты знаешь, святая мать, я раньше в Бога не верил, а когда в мясорубке побывал — поверил. Ведь это Он мне жизнь спас». Вера согласно наклоняла голову: «Да, Он тебе жизнь спас». — «Да вот калека ведь, — возмущенно, отчаянно кричал бритый калека, — как мне жить-то теперь без руки?! побираться разве?! Да на кой мне такая жизнь?!» Вера тихо гладила его пустой рукав. «С Божьей помощью все образуется. И рад будешь, и сыт будешь». Солдат растерянно проводил ладонью по бритому потному темени. «Не верю я тебе! А вот ты мне скажи, ты настоящая монашка, ну, как это у вас там называется, схима, вроде?.. или ты начинающая?.. первый раз в первый класс?.. Да нет, на рожу-то ты не первоклашка... А может, ты эта, игуменья? Да просто так вот из монастыря вышла да пошла по дороге, пошла? Типа погулять?!» Вера улыбалась. «Я не мать игуменья. Аз есмь раба Божия Вера, и монастырь свой я покинула, и вот в миру иду». — «Эх, так ты расстрига! — обиженно, разочарованно кричал молодой безрукий солдат. — Так зачем тогда рясу носишь, сними!» — «Нет, не буду, — все так же улыбалась Вера, — я в ней умру».

И нищий бритый солдат отшатывался испуганно.

И Вера внезапно и больно вспоминала того своего, давнего мужика, Бритого-сердитого, как бормотал он в железной тюрьме вагона, под стук колес: «Яички, яички красивые, цыпляточки сивые!.. тебе очистить яичко, Верушка?.. будешь?.. жри!.. а то на кочергу похожа, ни кожи ни рожи!..» — встреченного в поезде, минутного своего мужа, зэка-вольняшку, потную рубашку.

И крестилась, продолжая путь: помяни разбойника моего родного, Господи, во Царствии Своем.

Вера шла через леса, реки, поля, города, мосты, берега, богатство, нищету.

И чем дальше она шла по родной земле, тем величавее становился ее простой и незаметный ход, и ее сердце все больше раскрывалось родным людям, и многие люди вдруг стали непонятно узнавать ее, а многие, случайно или не случайно, уже знали ее; и, ее встречая, странные неведомые люди кланялись ей и падали ей в ноги, а она смущалась, останавливалась возле них на миг и благословляла их.

...красный крест... Солнце — это в небе ты. От версты до версты... от полноты до пустоты...

...красный, прекрасный Иерусалим...

...плыву, в небесной реке налим...

...Вера, зачем ты Вера... лучше бы тебя мать по-другому назвала...

...красную келью жизни всю пройти, насквозь, от угла до угла...

...красным крестом солнце с небес падает, поймаю...

...красная жизнь, я тебя вспоминаю... забываю... понимаю... <...>

* * *

К Вере прибилудилась рыжая собака с влажными карими человечьими глазами. Собака закидывала голову и любовно, преданно смотрела на Веру. Вера наклонялась и гладила собаку по голове. Они шли дальше вместе, и собака то и дело крепко прижималась к ноге Веры.

Собака научила Веру просить милостыню. Она научила ее не страдать и не стесняться — садиться при дороге и протягивать руку. Для собаки люди приносили кости, отгрызки, горбушки, Вере доставалось что-то и повкуснее. Они вместе с собакой ели, и собака ела красиво и нежно, Вера любовалась ею. Вера иногда разговаривала с собакой. И собака понимала ее.

Вера возвращалась, и собака возвращалась вместе с ней туда, откуда ее изгнали, — в любовь и заботу.

Жизнь все больше превращалась в житие, но Вера об этом не думала. У жизни были годы, месяцы и дни, а у жития не было этого ничего; житие — это был огромный золотой тяжелый ком, он тут же, на глазах, превращался в набухшую дождем и снегом тучу, из тучи ударяла молния, и Вера закрывала ладонью глаза.

Вера возвращалась в Сибирь вместе с собакой, и она снова, как при давнем ходе ее из Сибири в Иерусалим, встречала разных людей, попадала в разные приключения, видела и хорошее и плохое, видела и ножевые удары из-за угла, и грязные пятки спящего на лавке бродяги, видела чудо детского чистого, небесного взгляда, и чудо великого теплого сердца, когда один человек на краю бездны обнимал другого и шептал ему: «Не плачь, я с тобой». Она видела карманные кражи на рынке и внезапную смерть модного певца на открытой арене, на широкой площади; видела, как попадают под колеса электрички люди, и кровь разливается по шпалам и брызгает на серебряные, сельдяные рельсы; видела девок с фазанным раскрасом щеки и мужиков, на виду у всех играющих пистолетами в волосатых кулаках; видела, как сворачивает голубую белую ангельскую голову подросток с сигаретой в углу презрительного рта, а рядом взасос целуются две девчонки, еле удерживаясь на земле на высоченных, как башни, каблуках. Видела, как люди дерутся не на жизнь, а на смерть и прицельно стреляют друг в друга; видела, как, стоя на коленях, плачет мать над тельцем сына-грудника, убитого в оставленной возле магазина коляске. Она видела позор и счастье, милость и подлость, жалость и войну, убийство и рождение. Да, на ее глазах родился ребенок — в угрюмом, как гроб, здании сельской автостанции, и среди пассажиров нашелся врач, он принял роды, а Вера стояла рядом, все без слов поняли, что она должна и может тут помочь;

она подавала врачу скрученные в жгут чужие рубахи, счастливо нашедшийся бинт, йод и медицинский спирт из станционной аптечки; они гляделись как настоящие врач и ассистент, и все так и подумали, что эта высокая худая монахиня в черной рясе — из ближнего женского монастыря, а это просто такое у нее врачебное послушание, здесь, рядом, в сельской больничке. Младенец родился и тонко закричал, закрихтел, Вера смотрела, как мать лежит на вокзальной лавке, подплывшая кровью, и тяжело дышит, и счастливо смотрит, как ребенок сучит ножками на руках у врача, а по лицу врача, по вискам его и щекам течет пот, а может, врач тоже плакал, как плакала Вера, не замечая, что плачет.

Собака сидела тут же, рядом, не шевельнулась. Только высоко подняла морду, вытянула по полу хвост и нюхала воздух.

Вера шла, и в воздухе перед нею маячили странные письма. Буквы. Буквицы. Она не могла их прочесть умом, но прекрасно читала их сердцем. Чем дальше она шла и приближалась к Сибири, тем плотнее выстраивались в небесах, по обе стороны ее пути, эти письма. Она боялась их рассматривать, не хотела видеть их изгибы и узоры во всех подробностях. Не хотела их разгадать. Они висели в небе рядом, как завитки облаков, и этого было достаточно.

Вера понимала: она свободно может говорить на этом страшном небесном языке, но время еще не пришло.

Сейчас, при возвращении, она могла без труда беседовать с рыбами и птицами, с деревьями и стрекозами, с легким снегом, что летел с распахнутых серебряной шкатулкой небес ей в обвязанное апостольником суровое лицо. На вокзалах, в туалетах, она стирала апостольник, потом высушивала его на солнце — на карнизе, на спинке бульварной скамейки. Черный штапельный квадрат висел под палящим солнцем. Вера поднимала лицо к солнцу и закрывала глаза, чтобы не видеть манящих и строгих небесных писем. Высохший чистый апостольник опять туго обхватывал ее голову.

И опять и опять она шла на восток.

И рыжая огненная собака шла вместе с ней. <...>

* * *

Вера поселилась на заброшенной заимке. В сараюшке нашла битые стекла, застеклила и старой ватой законопатила окна. Топила печь даже летом, чтобы в избе тепло было. Нашла в избе, за печью, топор, и пилу, и другие инструменты, подмогу в хозяйстве; на полках отлично сохранились и горшки, и кастрюли. Ходила в село, туда приезжала три раза в неделю торговая машина, безденежную Веру уже все знали, из машины бросали ей бракованный, с запеченной грязью, хлеб, сельские старухи оделяли яйцами, пирогами, морковью, луком. Старой ржавой лопатой она вскопала землю, сама посеяла лук, картофель, петрушку, брюкву, китайскую капусту и огурцы. Явилась к ней одноглазая тетка из села, давала советы, с интересом, хитро косилась на Верину обтрепанную рясу, хрипло спросила: «Из монастыря сбежала?» Вера молчала. Тетка подмигнула: «Давай постираю! А ты пока мое платишко поносишь». Вера улыбнулась: «Сама постираю».

Тетка вынула из кармана пачку сигарет, долго смолила, потом вытащила из-за пазухи чекушку. «Рюмки у тебя есть? А то давай из горла! Не побрезгуй, сифилиса у меня нету!» Вера молча улыбалась и глядела, как тетка пьет — запрокидывая шею, жадно, как мужик, крупными глотками, без закуски. Зло утерла рот. «Хоть бы морковку какую дала, мать! Да нет у тебя морковки! Вырасти еще!» — «Выращу», — кивнула Вера. Пахло водкой. Из открытого окна тянуло хвоей. На жестком лице Веры было нарисовано великое счастье.

Она обнаружила, что Енисей оказался тут, рядом — за земляной грядой, поросшей лиственничником и кедровым стлаником. Когда она выбрела на кручу над рекой, она даже закричала от радости — так был волен и сурово-торжествен царь Енисей, так размахнул он на полмира свою синюю, холодно-парчовую мантию. Резко-сизая, будто заиндевелая, синь жестоко ударяла в глаза. Лежал под небом синий нож, и небо не могло схватить его и им разрубить время и давнюю боль. Вера стояла, руки по швам, как солдат, и глубоко, как на приеме у врача, дышала. Вдыхала родину. Сколько лет!.. без нее... А она и не считала. Толку было считать. У времени счета нет; есть только его скелет, и костяшки тихо стучат друг об дружку, дужки ребер, выгибы каменного черепа. Речной ветер безжалостно мотал подол Вериной старой рясы. Она ощутила себя старой, великой и вечной, как эта земля; и ступни ее были уже тронуты мерзлотой, и волосы — инеем. Холодное лето шло и текло, шел вдаль Енисей, царственно и мощно, к далекому ледяному океану, и вместе с Енисеем Вера сама шла по своей земле, и теперь время ей было не страшно — ведь она вращала ногами в родину, и это было тверже, важнее всего. <...>

...Понемногу вокруг Веры стали селиться люди. Старики. Старухи. Бродяги. Беглые: девчонки, что удрали из интерната, мужики, что убежали из колонии под Енисейском. Они подходили к Вере под благословение. Строили на заимке, кто что мог. Кто поселялся в старых сараях, чуть подлатав кривые доски. Кто даже в шалашах, потом себе временку сооружал. Вериная изба обрастала другими избами. Место заброшенное, тихое, власти здесь не появлялись, машины сюда не заезжали. Возникла своя упрямая жизнь, и средоточием этой жизни была Вера. Так рождался ее собственный монастырь, где она явилась всем молчаливой игуменьей, и все звали ее: «Матушка!» — и даже без имени, просто — матушка, и все. Земля родила, бабы заводили коров, косили траву и сушили скотине на зиму сено, зимою дым белыми рыбами на невидимых куканах вставал над трубами, росла заимка, превращаясь в таежный монастырь, и Вера понимала: это судьба, и надо радоваться ей. Она и радовалась, как могла.

Она приходила к каждому в его избенку, в сарай; учила молиться, если не умели; учила сажать лук и морковь; учила детей чистить картошку, а их родителей — варить китайский луковый суп. В неурожайный год монастырь на заимке голодал, в урожайный — дома ломились от всяческой еды; насельникам кто привозил из других святых мест святыне образа, а когда они и сами, перекрестясь, делали иконы — вырезали на бересте, малевали на старых кухонных досках. Вера понимала: никакого церковного права она не имеет управлять самостоятельным лесным монастырьком, но так говорила себе: права у меня на это нет перед людьми, но есть перед Господом — и просила: Господи, не дай мне покинуть моих людей, не дай оставить их прежде времени, а дай им помочь, обиходить и обустроить их, и главное, Тебе научить молиться и к Тебе идти. Она вспоминала разговоры с Н про войну. Отсюда, из глубин тайги, война виделась смешным драконом, коряво нарисованным в детской тетрадке; замалюй его черной краской, зачеркни, и все, умрет он и больше не воскреснет.

<...> Однажды появился человечек, седые волосы всклокочены, на башке то ли скуфья, то ли старая пилотка, в одном ухе серьга, другое топором обрублено, вместо рясы — землю кафтан метет, может, в оперном театре из костюмерной стащил. «Как тебя зовут?» — спросила Вера. «Алешенька!» — придураясь, зверино скривился мужичонка, сморщил нос. Вера закрыла глаза, и белым бледным прибором времени захлестнуло ее загорелые на енисейском солнце щеки. Мужики потихоньку строили святыне дома: сперва часовни, в честь Божьей Матери Казанской, в честь великомученицы Екатерины, потом и деревянный маленький храм возвели. В честь кого храм-то будет у нас? — так спросили Веру. Вера недолго думала. Улыбнулась и ответила: «В честь Алексия, человека Божьего».

Во храме служили службы, все честь по чести. В синие густые, как сметана, великие морозы вечерами собирались в домах: то в одном, то в другом, — дети обитатели очень любили эти вечерние посиделки, просили взрослых о сказках, о страшных историях, и матери и бабушки рассказывали им, как святых, чьи имена дети носили, мучили и терзали цари и короли, и как стойко святые все муки терпели — и в котлах с кипящим маслом, и на дыбе, и на костре, и на кресте, и под плетями, и как из окровавленного рта доносилась только хвала Господу: «Христе Боже, спаси и помилуй мя!» А однажды нагрянули стражи порядка, и испуганно глядели дети на фуражки и погоны, на начищенные сапоги и черные куртки, и кричали на всю заимку стражи: «Разогнать! Снести! Разрушить! Сжечь! Не положено! Штраф! Всех в тюрьму!» — и вышла к стражам Вера, раскинув широко руки обочь спрятанного под рясой худого тела, и громко, на всю тайгу, обратилась к пришельцам: «Только вместе с нашей обителью — и нас всех убивайте и сжигайте!» — и когда люди услышали это и увидели строгое твердое лицо Веры под туго завязанным апостольником, убоялись они выражения ее лица, слишком страшным оно было — таким страшным, что и не человеческим вовсе, а небесным ликом: так вселенская гроза молнии рассыпает из черных могучих туч.

Стражи порядка укатили прочь на машинах и мотоциклах. Один из батюшек увязался за ними в Красноярск на попутке. Вернулся, гладил бороду: «Живите спокойно, братья и сестры! Не тронут нас никого!» Кого уж он там, в городе, улестил, каким властям в ноги поклонился — никто не узнал, батюшка — рот на замок, а Вера не спрашивала, только подошла под благословение и морщинистую руку батюшке тихо поцеловала.

Во всякую избу на заимке заходила Вера, и везде старались угостить ее повкуснее, да мало и скудно ела она, все меньше ей требовалось земной еды. Она молилась, глядела в небо. Наплывали из иных земель облака. Громоздили, перевивали бирюзовые, жемчужные небесные воздушы. Умиralи насельники, Вера их хоронила, и все вместе с ней пели над гробом панихидные молитвы, и батюшка возжигал ароматы в кадиле, сделанном из рыбацкого котелка, а окрестные кедры и елки пахли сильнее и гуще святого дыма, и прибывало могил на маленьком лесном кладбище близ заимки, и думала Вера: «Вот и еще один, еще одна, Господи, прими с миром душу живую; тело мертво, но ведь душа-то жива, и взывает Страшного суда, и верит, и ждет». Предсказала Вера однажды пожар, и правда, загорелся на заимке овин; там насельники сушили не только снопы, но и сено скоту в зимний запас. Воды много, да Енисей далеко, не потушишь, на реку не набегаяешься! Вера закричала: «Песок несите! И мокрые одеяла!» Мочили одеяла в воде и набрасывали на пламя; засыпали огонь песком. Спасли заимку! Не перекинулось на избы пламя. Все люди на колени встали и молились на Веру. «Ты чудо совершила!» Вера прижимала палец ко рту. «Никогда не говорите так. Бог спас».

Насельники, все до одного, стремились услужить Вере: кто — выстирать ей рясу и апостольник, кто — нажарить картошки на огромной, как шаманский бубен, сковороде, кто — нанизать на леску сухие ягоды рябины и подарить Вере четки, тридцать три бусины, по числу земных лет Господа, кто — сварить ей варенье из жимолости, или из лимонника, или из брусники, кто — помыть полы в ее избе: и мыли, дожелта отскабливали ножом и терли мыльной тряпкой, а потом в кувшины и трехлитровые банки ставили купальницы и сияющие жарки, весенник и багульник, рододендрон и васильки. И благоухала Верина изба. И спрашивала она себя: Господи, это ли не счастье! И отвечала сама себе: Господи! спасибо, что Ты подарил мне его. На все оставшиеся мне годы.

«Только бы не война, — шептала, — только бы не война». <...>

* * *

Шли годы, и вдруг Вера захотела выбраться из тайги хотя бы на один день и снова увидеть город, где она выросла и прожила полжизни. Насельникам сказала: «В Красноярск побреду!» Люди перекрестили ее: «Счастливо, матушка!»

Никто и не спросил, вернется, нет ли.

Стояла зима, и гуляли по оврагам и площадям белые и черные ветра. Дул полуночник, лютый заморозник, льдом покрывались стрехи и ветви, звенели, стучали друг об дружку. Каменными бутылками возвышались на снежной скатерти суровые дома, они молчали, и душа Веры молчала. Она не узнавала город, а город не узнавал ее. Встречи не получалось. Люди не глядели в ее сторону. Только дети дивились на странную черную монахиню, твердо, по-солдатски идущую по обросшим наледью тротуарам. Вера не глядела на красный свет светофора и детей не видела. Она не видела времени. Время растворилось, как сахар в чае старушки Расстегай.

Вера заходила в магазины и выходила из них наружу. Денег у нее не было. Заходила в парикмахерские, там юные нежные девочки подметали щетками чужие остриженные кудри. «Вас постричь?» — вежливо спросила ее старая седая парикмахерша, сама коротко стриженная, как мужик-клоун. Вера поклонилась и попятилась. Чуть не разбила локтем стеклянную дверь.

Зашла в забавный магазин, там чирикали щеглы в клетках и быстро, весело бормотали всякую чушь зеленые и синие попугаи. Сильно пахло кошачьим, собачьим и птичьим кормом. «Купите попугайчика! — протянула Вере клетку продавщица. — Очень понятливый! Знаете, он даже поет песню такую... ну эту, старинную... а, вот! Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет! Боря, Боречка, спой! Не стесняйся!» Зеленый попугай громко и картаво запел: «Лучше нету той минуты, когда миленький придет! Как увижу, как услышу...» Оборвал пение. «К-к-как увижу... ка-а-а-ак... ус-с-с... лышу... как...» От стыда спрятал зеленую хохлатую башку под крыло. Продавщица зарделась. «Ну Боречка, ну что ты стушевался! Тетя тебя не обидит! Тетя тебя сейчас купит! Правда?» Вера развела руками. «Простите. У меня нет денег. А вот дети у меня есть».

Да, у нее была целая заимка детей. Как бы они подивились на такого попугая!

И тут продавщица сняла клетку с полки и протянула Вере. Косилась на ее черную измызанную рясу. «Вы небось в приют какой ходите?.. с молитвами?.. в детский дом?.. Да, там рады будут... возьмите!» Вера обняла обеими руками клетку с попугаем.

А на улице валил снег, шел призрачно и густо, а потом еле видно, невесомо, серебряные тончайшие нити прошивали серый воздух, дымы и гарь, протыкали близкую ночь гудки и звонки трамваев, разрезали визги машин, некуда было идти Вере, негде было ей ночевать: о квартире своей, откуда она тысячу лет назад ушла в Иерусалим, она и думать не хотела, да и не было просто этого бедного жилья, зачем о нем и вспоминать, только сердце надрывать. Давно дверь взломали, все ее милое, родное на снег выкинули, иные люди заселились в веселый легкий воздух, которым она дышала. Жизни! Всего лишь жизнь. А если бы я умерла, думала Вера, ведь некому тогда сокрушаться о потерянном жилище! Пусть люди живут там, где она жила! Пусть о ней не думают. Они ведь ее не знают. И никогда не узнают.

Заморозник усиливался, ночь уже обрушилась на город, созвездия вышили небо гладью и крестом, и Вера вспомнила, как она вышивала свою старую, еще материнскую думку. И думку выкинули, а может, сожгли. А может, сейчас на ней кто-то спит? Под щеку подложил? Ох, хорошо бы! Хоть что-то останется после нее!

Черный крест. Красный крест. Гляди не перепутай.

Она прижимала клетку с попугаем к груди, к тонкому зипунчику, подшитому козым мехом. Снег залетал в клетку, вызвездил ее золоченые прутья. «Замерзнет, — думала Вера тревожно, — замерзнет как пить дать». Вот и повеселила детей. Надо в тепло. В укрытие. Снег и ветер — это война. Жесткий снег летит, стреляет, бьет в лицо из-за угла. Вера огляделась; все дневные заведения были закрыты, а ночных она бы никогда не нашла. Ангел денный, ангел ночный! Помогите мне! Где вы!

Она из раструба улицы вышла на площадь. Огни обняли ее и закружили. Фонари качались и плясали, окна вспыхивали, плыли во тьме яркими лодками, и люди, далеко и глубоко, плыли в них, переплывали время. Снег повалил сильнее, заволакивал призрачным белым кружевом граненые стаканы фонарей, и Вера чуть не заплакала — снег привиделся ей кружевами покойной Анны Власьевны, и услышала Вера легкий деревянный стук коклюшек, костяшек: это отстукивало мгновения время, а кружева лились с черных нефтяных небес, обкручивали, обвивали раненых любовью и болью, бинтовали им раны сквозные, рваные, целовали мятным детским, праздничным холодом.

И вдруг — раз, два, разошелся в обе стороны плотный морозный воздух. Мягкий медовый свет, полусфера огня, и скос старой забытой мостовой, и в круге света стоит каменный стол, а за ним люди сидят. Сослепу да издали не разглядела Вера, что за стол и что за люди. Даже и не подумала, почему не в доме, а на улице за столом расселись. Подходила все ближе, ускорила шаг, крепче клетку с дареной птицей к сердцу прижимала. Вот уже стала различать за каменным грузным столом лица. Метель поднималась. Взвихряла волосы женщин, кисти скатерти. Длинный стол, и в центре стола сидит человек. Руки его спокойно лежат на столе, ладонями вверх. Он сделал вдох, другой, так дышат дети после плача. Вера сама так прерывисто дышала, когда мать в детстве била ее за провинность, и она часами рыдала в пыльном углу. Губы распухали, рот наполнялся горечью. Это другая была Вера; не она. А по обе стороны от человека — люди. Гости! Это он, видать, хозяин, всех гостей созвал. Что-то он гостям такое сейчас сказал! Будто выстрелил в них. Слово — пуля! Кому в грудь попало? А они, люди-то, отвечают хозяину — не ртами, не глоткой: жестами. Руками! Пальцами! Сложенными трубочкой губами... Свистнуть хотят, дышат, как говорящие птицы... Кто руки лодкой сложил... Кто — ладонь вперед вытянул, желая спросить... а может, доказать... О чем они? Вера не слышит. Надо подойти ближе. Ближе.

Она сделала шаг, другой вперед — да так и застыла, с клеткой в руках, с птицей, кою посекал призрачный железный снег.

Справа от хозяина сидели трое. Мужик бритый, а щетина на скулах седая, и лоснится потом сморщенный лоб, череп — овалом каменного яйца, а руки почернели от работы, будто бы их коптили на коптильне, как хариусов или свежевыловленную кумжу. Женщина, лоб туго обвязан красным платком. И кофта красная расстегнута, и видны в вороте шея и грудь, и черный потертый гайтан, и морщины, они текут по груди, как дождь или слезы с подбородка. И третья, баба, тут же, вплотную к ним сидела; три красных язвы чуть ниже рта, будто три красных клеща по скуле сползают. Три родимых пятна! Их Вера сразу узнала.

А после узнала и мужика, и бабу в красном платке рядом с ним.

Узнала — и содрогнулась. Ее отец и мать.

И тетка ее, та, что в Лесосибирске жила.

Трое... тролица... живая... почему у отца на лбу колючего венца нет... той метки Туруханска...

Вера застыла. Снег бил в нее, как в бубен. Отец, Емельян Сургут, смотрел и не видел ее. Мать, Дарья Сургут, туже затянула красный платок. Вера видела все. Она ви-

дела, как мать ближе придвигает к себе стакан, как отец тяжело, натужно тянет руку к обклеенной аляповатыми этикетками бутылки, и темно-алая жидкость вырывается из горла и страшно булькает, льется в пустой ледяной стакан. Доверху стакан налил. Щедро. Тетка из Лесосибирска поглядела и облизнулась.

Слева от хозяина сидели тоже трое. Вера даже не щурилась. Глаза ее обрели речную, прозрачную зрячесть. Узнала! Родные! Какое половодье, безумье какое... Живые! Анна Власьевна, душечка, кружевница моя светлая! Спасибо, такой нежный снег мне навеки сплела! Старушка Расстегай деловито отламывала от куска, лежащего на расписной тарелке, маленькие кусочки и весело отправляла их в рот. А что на тарелке? Пирог! С чем?.. с чем... не различить... с красной ягодой такой... кровавой...

А третья, кто же третья?.. А... узнаю... та медсестричка в столичной больничке... сестричка-птичка... уколы мне все делала, когда меня раненую с улицы в палату привезли... укол сделает — и по руке погладит, и все приговаривает: не больно?.. не больно?.. Нет, говорю, не больно... Она меня кашей из ложки кормила...

А рядом с родителями Веры сидели еще трое. И тут парадом командовал мужик. Бритый зэк, на волю отпущенный. И стол тряся, как будто не площадь под ногами, а пол вагона, и поезд идет, вперед колесами стучит. Это он, зэк лысый, ловко вино разливал. И люди, кто что мог, подставляли. Кто чашку. Кто плошку. Кто мензурку. А кто просто руки свои. Складывал живой кастрюлькой и протягивал. И пальцы плотно сжимал. Ни капли не выльется.

Второй-то — со змеею восседал! С громадным питоном, весь в пятнах змей, как яростная яшма, а уж скользкий такой, и блеснит, будто выкупанный. Жирный, может? Вера помнила гладкость чешуйчатой страшной кожи. Она проводила по ней трусливой ладонью и тихо смеялась. Циркач, смелый Валя, змеинный царевич, и ты здесь, за столом! А, у тебя уже налито вино! Куда? В миску, из нее же питон твой ест! Все живое ест из одной миски. Не забудь.

А третий, третий... ох, волна поднимается... и сейчас опять, опять смоеет тебя с палубы — в зеленую пропасть... Алешенька!.. вижу тебя, да ты хоть скажи мне, как там, на небесах?.. ангелы поют тебе, монаху-расстриге, свои лучшие, счастливейшие песни?.. Ты коньяка хочешь, одесского?.. нет, сегодня только вино... куда тебе налить?.. в эту битую рюмку больную?..

А подале святых старух и святой молодухи сидела еще одна троица, да какая! Всех, всех узнаю, дорогие! Сестра Васса, щебетунья смешливая, ничуть ты не изменилась, все такие же хулиганские солнечные веснушки у тебя на носу! Борода ты черная, ветрами крученая, Липа Гузман, серьга морская в ухе, подпусти сибирскую матерщинку, да разве ж ты откажешься выпить на дармовщинку! Праздник есть праздник. Матушка Мисаила, древняя ты старуха, еще шажок, и схимница, прости меня! За то, что я твоих молодых смертных мук в том турецком веселом доме не знала, не приняла. Да мы с тобой обе грешницы. И мы с тобой обе — грех наш — давно отмолили! На всех исповедаях! Липа, разливай! Вон они, монастырские чашки, жадно под сладкую кровь подставлены!

Двенадцать... двенадцать...

Веру как стукнули тяжелым кулаком в грудь. Она покачнулась. Клетку из рук не выпустила. Двенадцать, как она сразу не поняла! И хозяин — это...

Она встала в снег, на засыпанную твердой крупкой снега, как енисейскими перлами времен Ермака, в судороге веков выгнутую мостовую перед Господом на колени, и попу-гай из клетки внезапно резко крикнул, как новорожденный младенец, на всю площадь:

— А-а-а-а!

А потом — человечьи слова сумасшедше, хрипло прошептал:

— Вся душа моя пылает! Вся душа моя горит!

И все, кто мог за каменным тяжким столом наливать вино, все всем наливали; люди подставляли стаканы и бокалы, пригоршни и чашки, мензур и собачьи миски, и даже шапки, и даже треухи и кепки, только Вере одной нечего было под живое вино подставить. Лилась кровь Господня, изливаемая во оставление грехов, и глаза Веры жадно шарили по столу, кровь-то тут, наливают от души, а где же хлеб, где же Тело Христово, без него же никакого Причастия нет и быть не может, хлеб!.. хлеб... Дайте хлеб! Разломите хлеб! Бросьте его на каменный стол. Это самая великая милостыня! Война начнется — никто вам его, хлеб, уже не бросит! Ни под ноги, ни в руки... не спрячете за пазуху...

И видела Вера: не только двенадцать сидели за каменным столом, и призрачный, косо падающий снег не только над головами сидящих складывался в многогранники, виноградные грозди, корабли с парусом в виде месяца, медленно плывущих серебряных рыб, трепещущих крыльями смелых голубей, звездные якоря, сверкающие венцы, плывущие среди планет монограммы, вольно летящих орлов, катящиеся во мраке черепа необитаемых планет, треугольники, стрелы, восьмиконечные звезды и иные восточные тайные узоры: за ними сидели и вставали рядами другие люди, они все прибывали, и рыбаки с Енисея, и торговцы с жарких улиц Иерусалима, и старуха Лиза из деревни Верхний Услон близ широкой индиговой Волги, и загорелые, со злым прищуром, солдаты посреди сирийских руин, в пыльном пятнистом камуфляже, и оркестранты, что восторженно били смычками по пультам, когда в зале публика хлопала в ладоши, и холодно, сурово молчащий за ресторанным столом, до фарфоровой гладкости выбритый Н с беспомощными глазами нашкодившего ребенка, и кудрявая сестра Веры Марина, ее убил муж, когда она у мужа хотела украденную дочку назад похитить, и поросячье лицо Марины в застолье глядело живое, не размозженное пулями, и смеялось густо, ярко накрашенным ртом. И много всякого народу еще стояло за плечами и спинами тех, кто сидел за столом, много всех толпилось и качалось штормовыми высокими волнами, но все обступали стол тихо, никто не шумел, не гудел, не бушевал, не буянил; не выкрикивал слов шуток или проклятия.

Вера обвела всех глазами. Это все был ее народ. Посланный ей Богом на земле.

Тогда кто же такой маленький говорящий попугай, что пришипился, нахохлился и смиренно, печально сидит в золоченой клетке, посекаемый безжалостным ветром и снегом?

Может, его надо родным мертвецам и родным живым — просто — подарить?

В знак... в знак любви... и — памяти...

Птица, она же восстает... из любого огня... оживает...

После любой войны... любой разрухи... птица — на площади... на пепелище...

Феникс...

— Это Феникс! — крикнула Вера и сделала отчаянный шаг вперед.

Протянула золотую клетку сидящим и стоящим за каменным столом.

Поставила клетку на край стола.

Попугай чирикнул, как соловей.

Вера крикнула беспомощно:

— И мне!.. и мне...

Озиралась. Искала глазами пустую посудину, для вина безумного зимнего Причастия.

Посудины — не было. Ни рюмки. Ни наперстка.

Тогда из-под стола вышла, качаясь на слабых лапах, тощая рыжая собака. В снежном свете она светилась, как золотая. В зубах собака держала за дужку старое, ржавое детское ведро. С таким ведром Вера девчонкой играла в песочнице. Вера вынула

из собачьих зубов ржавую дужку. Протянула детское ведро отцу. Он сидел за столом всех ближе к ней.

И отец стрельнул глазами в Веру из-под голого лба, где кожа сбиралась старой гармошкой; взял в узловатые грязные, от грязи черные пальцы бутылку, в ней вино не кончалось, и плеснул молча в детское Верино ведро, не глядя, резко, жестоко, — и разлилась кровь Господня на камень столешницы, и все за столом, близкие и далекие, взяли в руки свою посуду, кто первую, кто последнюю в жизни, а хлеб, где же хлеб, как же Причастие — и без хлеба, билось у Веры в висках, хлеб, хлеб, где...

— У тебя! — визгливо крикнул ей попугай.

И Вера полезла за пазуху, за воротник козьего зипуна, и потрясенно вытащила под снег и ветер жесткую горбушку — ту самую, что люди бросили ей под ноги в концертном зале, желая над ней насмеяться. Разломила надвое. Одну половину подала отцу, другую — матери.

И разломили мать и отец Веры ее хлеб, и передавали другим людям, а те ломали куски в свой черед и другим отдавали, а те — третьим, четвертым, а те — сотням и тысячам, во тьме сушим.

И Господь поднял руку и благословил всех за Вечерей Своей.

Весь Свой народ — благословил.

— Приимите, ядите...

Когда Вера наклонилась и испила вина из детского ведерка, оно ударило ей в голову и опалило душу. Попугай глядел на Веру из призрачной клетки круглым золотым глазом.

Белые кружева мели, метались во тьме живой и заматали всех: и грешников, и святых, — укутывали то ли в родильные простыни, то ли в смертный саван.

* * *

На святой заимке не читали газет, не смотрели телевизор, не слушали радио.

Детей учили грамоте по старым книгам. Складывали и вычитали на старых бухгалтерских счетах. Электричества не было: в сумерках и в ночи жгли лучины и свечи. Иногда жгли сушеную миногу, и на всю избу соленой рыбой пахло, ее горящим жиром и ее жжеными плавниками.

Люди жили тут, как в Раю: деревья, травы и цветы росли, тайга шумела, музыкой гудел кедр, пихты и старые лиственницы, попевали овощи и ягоды, колосилась пшеница на крохотном поле — его вспахивали старинным плугом, — ржали в конюшне лошади, мычали в хлевах коровы, и слишком рядом была земля, и рядом — река, а еще ближе — небо, и иногда Вере казалось: вон он, Град Небесный, ее любимая обитель, — над ней, в зеркальных, сияющих сколах и друзьями, медленно падающих прямо в сердце облаках.

Газет не водилось, а слухи доходили. Однажды осенью слух прилетел про знаменитую столичную певицу. Утонула, а поговаривают, утопили, а еще вернее, ее любовника в убийстве заподозрили, да взяли-арестовали, руки скрутили, в тюрьму посадили. Да не в тюрьму, а в изолятор! Что еще за изолятор? Под следствием он. Наследил! Да уж точно, виноват. Из ревности утопил-то? Да кто его знает, однако! Однако, из ревности! Из-за чего же еще! Мужик, баба, любовь, злоба... звери, звери люди все...

Вера выпрямилась, слушая тот слух, и стала похожа на каменную статую той своей, любимой, мертвой рыжей собаки. Как звать певицу? Вы не помните?

Как же не помним! очень даже помним! Ну, эта, очень-преочень знаменитая! Громыхало везде имя ее! Со всех сцен! Все радио ею захлебывались! Ну эта, эта, да ты, матушка, наверняка знаешь... На «зэ» вроде, зэ-зэ-зэ... Зиновия звать ее!

Вера плотно сжала губы. Окаменела лицом. Отвернулась. Пошла. Остановилась.

Внутри нее раскрылось ледяным бутонем молчание и тихо, мучительно-медленно раскрывалось, как бедный, на пепле взошедший цветок.

Ни слова Вера не проронила весь день. К ней обращались — молчала. Ей в лицо кричали — молчала.

Ночь она не спала.

Утром к ней опять приступили; она молчала; и ее оставили в покое.

Люди сочли, что она дала обет молчания.

И зауважали ее, благоговейно склонялись перед ней; шептали вслед ей: «Ты уж выдержи, матушка, обет, тяжелый он, да мы за тебя помолимся». <...>

* * *

Ровно год спустя Вера сидела на берегу Енисея, у самой воды. Она молчала, внутри себя читала Иисусову молитву. Сидела на большом грузном, гладком валуне, опускала руки вниз, и пальцы ее слепо ловили камни на песке, то острые, жгучие, ножевые, то нежные, глаже женской ухоженной кожи. Енисей тек мерно и мощно, серые воды клубились и разымались, темные и серебряные рыбы метались тенями, являлись потусторонним воинством подводным. Топырили плавники копьями, штыками винтовок. Взблескивали безумными секирами хвостов. Исчезали. Хоровод лиственниц, пьяно-кривых от северного ветра, махал пожелтелыми скорбными ветвями. Река дышала близкой зимой, неизбежным прощанием. С чем? С кем? С навсегда возлюбленным, единственным? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий... За спиной Веры слышались шаги. Камни хрустели под чужими ногами. «Из насельников кто-то, вечереет, холодает, меня, матушку, сейчас домой уведут. Может, дитенка за мной послали».

Вера обернулась и прижала ладонь ко рту.

Зиновия надменно глядела на нее.

— Вот ты где. Спряталась. От людей. На реку глядишь. Гляди, гляди! Река, она...

— Здравствуй, — трудно сказала Вера и легко встала с валуна.

Тяжко было говорить после года сумрачного молчания, промелькнувшего, как один миг.

— Здравствуй! — крикнула Зиновия.

Эхо разнесло ее крик вдоль по реке.

— Что ж ты не удивляешься? — ядовито спросила Зиновия.

— А чему я должна удивляться?

— Что я жива!

— Значит, это все был обман?

Зиновия глядела на Веру глазами круглыми, совиными, торжествующими. Ее зрачки метали черные искры, а все лицо горело мрачным костром.

— Да! Обман!

Ветер собакою лизал лицо Веры.

— Зачем?

— Это я все устроила! Все так подстроила! Думаешь, легко было все состряпать?! Но я состряпала. Мне помогли! Он, гад, за решеткой. Теперь с тобой разберусь!

Зиновия шагнула к Вере, а Вера стояла столбом. Каменным столбом. Соляным. Деревянным.

«Я осенняя лиственница, а это мой последний ветер».

— Это война? — тихо спросила Вера.
— Да! — крикнула Зиновия. — Война!
— Не ведаешь, — трудно, хрипло выдавила Вера, — что творишь...
— Очень даже ведаю! Я тебя — ненавижу! Все тебя любят, все тебя любили всегда, а я тебя ненавижу!

— За что? — прошептала Вера, и северный ветер ударил ей в скуластое лицо.
— За то, что любят — тебя! Всегда! Любили! Тебя! И когда ты пела, и когда молилась! За то, что песни твои — лучше моих!

— Лучше... хуже... зачем...
— Да! Лучше! Нет! Вру! Не лучше! Мои — лучше! Я — яркая, сильная! Меня — издалека видно и слышно! А ты, ты... серая мышь! Мышенька ты! Нищенка! Дрянь ты умоленная! Сволочь ты! Возомнила себя ангелицей! Святой! Никакая ты не святая! Серость ты и блеклость! Зола ты от костра отгоревшего! Мертвячка! Душонка твоя подлая, хищная! Меня охомутала, ко мне примостилась, подлизалась и, как я, певичкой стала! Людскую любовь, людской восторг и восхищение захотела в лукошко собирать! И к Богу ты метнулась — потому что сама нищая мышь! Не драгоценный камень ты! А серый булыжник! И песни твои — тьфу! И молитвы твои — ха, ха! Ненавижу!

Вера подставляла холодному ветру горячее лицо. Приоткрыла рот.

Ей трудно было говорить. И все-таки она говорила это.

— Зина... Ты... Это — зависть! Ненависть — это зависть!

— Да что ты говоришь! — Зиновия подбоченилась. Волны злобы морщили ее красивое, холеное лицо. Оно у нее не состарилось, за эти годы только двойной подбородок, как у дородной царицы, вырос да чуть обвисли румяные круглые щеки. — Да что ты мелешь, мышь! Это ты мне завидуешь! Люто! Еще когда мы пели вместе и выходили на сцену, все так и шептались вокруг: вот, вот они выходят и поют, как сестры, похожи, и поглядите, как эта, монашка, хромоножка, с ненавистью смотрит на великую певицу, ну да, серая монашка — великой Зиновии — яростно завидует! Великая Зиновия — бессмертна! А эта серая мышь в рясе, что она-то делает рядом с ней?! Поет?! Это она только думает, что поет! А на самом деле хрипит и квакает! Все вокруг говорили, вся публика, весь народ, что ты мне завидуешь черной завистью! Мне! Яркой и гениальной! Мне! Я — бессмертна! Да! Бессмертна!

Ветер тихо стонал между ветвей осенних лиственниц и черных кедров.

— А ты — ты сдохнешь! Помрешь под забором!

Енисей тихо гудел, шелестел за их спинами.

Раскидывал громадные, серые водяные крылья.

И облака за их лопатками воздымались крыльями; и ветер хотел поднять, оторвать их, людей, от земли.

— Святая мышь! — выкрикнула Зиновия.

Вера молчала.

— Мышь никчемная! Никому не нужна! Отребье! Мусор человеческий! Тебя забудут! А меня будут помнить всегда!

Вера молчала.

— Черт меня к тебе понес тогда в Иерусалим! Лучше бы я в тот клятый Иерусалим и не ездила! Мне тебя гадалка нагадала! Перед отъездом я к гадалке пошла! Сдуру! Она мне карты разложила! И перед зеркалом свечу зажгла! А в зеркале — ты! Мышь! Вот в этом своем черном платке дурачком! И гадалка в зеркало тычет пальцем и шипит: вот к ней, к ней должна далеко ты поехать, за три моря, в Святую Землю! Поехала, черт тебя возьми. Поскакала!

Вера молчала.

— А я-то ведь только сейчас поняла! Да! Только сейчас! Ты — мой двойник!

— Кто... — разжала губы Вера.

— Ну разве непонятно! Мы же похожи, черт, как сестры! Да нет! Даже хуже! Ты когда-нибудь в зеркало со мной вместе гляделась?! Еще скажи никогда! Да сто раз! Тысячу! Ведь ты — это я!

Зиновия схватила за руку Веру. Другую руку сунула в карман плаща. Выдернула круглое карманное зеркальце.

— Гляди!

Зиновия приблизила лицо к лицу Веры. Ветер усиливался. Сорвал шляпку с затылка Зиновии, трепал концы Вериного апостольника.

Зиновия вытянула руку с зеркальцем. Прижалась холодной гладкой щекой к щеке Веры.

— Гляди, мышь!

Вера заглянула в зеркало.

Она знала, что увидит в нем.

Увидела два одинаковых лица.

Себя — и себя.

Смотрела в оба своих лица, и вереницей, чудовищным веером раскрывались, распахивались картины их общей жизни, Вериной-Зиновииной, глядел со дна времен утопленник-сын, звучала музыка, поднималась и рушилась волна оркестра, как великанское рыдание, и гладили Верины руки Зиновиино белье на широкой, как льдина, гладильной доске, и несли чужие восхищенные руки на сцену громадные, с целый дом, букеты цветов, розы, гвоздики, тюльпаны, гладиолусы, нарциссы, и чужие послушные руки складывали бешеные, дурманные цветы в пахнущую горьким бензином машину, и набрасывала Зиновия удавку на Верину шею, хрипела глотка, летел в лоб и губы первый нежный снег, горели по всей Москве фонари, сиял коньяк в графине, и стелили усталые руки постель, и клали руки дрова и хворост в богатый камин, отделанный зеленым, как Енисей, и алым, как флаг мертвой страны, надгробным мрамором, мужская выхоленная рука брала женскую рабочую руку на уставленном заморской снедью ресторанном столе, и сжимала, как рюмку пустую, приближались к микрофону поющие губы, летела песня, как живая молитва, а молитва становилась любовною песней, так и было в начале времен; Вера ждала, когда веер схлопнется, и он захлопнулся, свернули его в тонкую полоску, в древесную сухую ветку — одним движением, резким, бесповоротным.

— Ты меня убьешь? — просто спросила Вера.

Стояла. Не убегала. Не спасалась.

— Я не тебя убью. Ты ж понимаешь. Я — убью — себя. Все, как я и хотела. Когда утонул мой сын. Я хотела — себя. Теперь у меня получится!

— Это твой Страшный суд! — крикнула Вера. Ей или себе, это уже было все равно. — У каждого свой Страшный суд! И у тебя он будет! Сейчас!

Зиновия шагнула к Вере.

Ее руки были пусты.

Ничего не было в руках Зиновии: ни удавки, ни ножа, ни пистолета, ни иного оружия.

Смерть она не держала в руках.

Она держала в руках пустоту.

А за ее плечами гудела и пела ледяная вода.

«Вода, — поняла Вера, — Енисей».

Зиновия шагнула еще, вплотную к Вере, схватила ее обеими руками, обняла.

И потащила к воде.

Вера шла, ноги сами шли.
«Куда иду? Надо бороться».
Она шла покорно, не говоря ни слова.
Им было слышно дыхание друг друга.
Они вошли в воду.
Холод обжег их ноги сквозь все чулки и юбки.
— Что ж ты не вырываешься? — шепнула Зиновия. — Тебе не хочется жить?
Они уже зашли в воду по колено.
Вера молчала.
— Это ты или я? Кто из нас сейчас утонет?
Вера молчала.
Над вечерней сумрачной, волчьей рекой пискляво, тоскливо кричали чайки. Зиновия и Вера уже зашли в воду по грудь.
И тут дно вырвалось из-под их ног, и полетело вбок, и они полетели вместе с водой и землей, взявшись, как сестры, за руки, и Вера запомнила напоследок: рука другой женщины закидывается ей за шею, больно гнет, потом ее грубо толкают в спину, она валится лицом в воду, бьет ладонями по воде, пытается выплыть, ловит заполярный, хрустальный ветер жадным ртом, ловит еще живыми руками встающие золотой закатной стеной, могучие облака, а ей тяжелую руку на темя кладут и топят, чтобы скорей захлебнулась, вталкивают, младенца, опять в мрачные и кровавые родовые пути, вдвигают ее обратно в холод, в мрачную последнюю осень, в близкую зиму, во тьму, что велика и беспредельна, нет ей конца, да и начала ей тоже нет.

ВИДѢНІЕ ГРАДА СВЯТАГО НЕБЕСНАГО ІЕРУСАЛИМА МАТЕРЬЮ ВѢРОЙ, МОНАХИНЕЙ ГОРНЕНСКАГО ЖЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ

..... и огонь жадно пожирал все, что мог пожрать, и гудел, и страшно кричали люди — те, кто еще мог жить и кричать.
Вера лежала рядом с горящим автобусом. Над ней сгорбилась Зиновия.
Ожоги вспухали на лице Зиновии, на руках. Она беспомощно оглядывалась. Люди орали и ползли вон от автобуса, все в саже, ожогах и ранах.
Зиновия била Веру по щекам.
— Вера! Верочка! Очнись!
Вера лежала на асфальте, испятнанном кровью, лицом вверх, молчала.
Зиновия выдернула из кармана дамское зеркальце, прислонила к губам Веры. Зеркальце запотело.
— Верочка! Ты жива! Господи! Слава богу!
Люди кругом вопили:
— Война! Война! Смотрите! Смотрите! Это началось!
Зиновия подняла вымазанное кровью и землей лицо и посмотрела вверх и вдаль.
Над городом, который они обе покинули так недавно, вставал невиданный огонь. Пламенный гриб медленно раздувался.
— Не смотрите туда! Вы ослепнете!
Глухой гул стоял вокруг, земля превратилась в горящее небо и звучала, стонала.
Дома поблизости от дороги горели все. Зиновия ощутила дикую боль в левой руке. Покосилась: рука висела плетью, перебитая в локте.
Навстречу горящему автобусу по дороге шли дети. Они держались за животы и орали. Животы их светились, и сквозь кожу видны были кишки. Время от времени кто-то

из детей падал на дорогу и затихал. Впереди шел мальчик, он был выше всех ростом. У него из глазницы вывалился глаз и висел на нитке, и мальчик пытался заправить его обратно под лоб.

Зиновия скрипнула зубами. Плюнула. Рот полон сажи. Работает одна рука. Она подхватила одной рукой Веру под мышку и тяжело потащила, поволокла.

— Потерпи... мышенька моя, Верушенька... потерпи... мы должны...

Зиновия бормотала, будто пела колыбельную.

Обожженные люди отползали от автобуса.

День или вечер? Время исчезло. Оно потеряло смысл. Потеряло само себя. Нагие женщины валялись в придорожной канаве. Асфальт оплавился. Поодаль виднелась груда обугленных обломков. Зиновия подтащила ближе к обломкам Веру, всмотрелась и поняла — это искореженные, обожженные тела. То, что миг назад было людьми. Зиновия отвернулась, ее вытошнило на горелую корку асфальта. Люди штабелями лежали на шоссе, машины валялись, как мертвые жуки, брюхом вверх, металл оплавился. Молчание сменялось страшными криками. Крики — хрипами. Потом молчание обрушивалось опять, и в полной тишине тонкий, жалобный детский голос плакал. Он пел последнюю песню.

Огненный гриб увеличивался, вырастал над городом. Зиновия старалась туда не смотреть.

— Все равно мы все умрем... зачем же тогда жить... зачем тогда мы все... жили...

Заплакала. Заревела в голос, белугой.

— Зачем же тогда я тебя спасаю! Вера! Вера!

Горы призраками вставали со всех четырех сторон. А может, это были хлопья сажи. Ветер развеивал дым и пыль взрыва. Раздувал костры. Облака наплывали, превращались в скалы и утесы. Зиновия смертельно хотела пить. Воды не было нигде. Никакой. Ни капли.

— Пить... Пить... Господи...

Она подтащила Веру к разрушенной стене дома. Дом, жили люди. Где сейчас эти люди? Так же идут по дороге, как эти дети-призраки, и стонут: пить, пить?

С рук Зиновии свисала сожженная кожа. Сломанная левая рука болталась, как маятник. Зиновия смотрела в лицо Вере.

— Вера... Мы не уберегли... Это все-таки началось... теперь — покатится...

Зиновия сидела возле Веры на корточках. Потом встала, шатаясь. Мрачное небо горело. Облака горели. Громоздились пламенными торосами, сталкивались, плыли, расцеплялись. Снова склеивались, сливались. Зиновия стала ходить кругами вокруг лежащей на земле Веры, как лунатик. Она наклонялась и отрывала зубами куски кожи от своей правой руки. С обеих рук капала кровь. Зиновия вытерла руку о лохмотья юбки.

Зарево поднималось над Иерусалимом, но Зиновии это было уже все равно.

Она не глядела туда.

— Там — распятие... там распяли... туда глядеть нельзя... не гляди туда...

Она уговаривала себя, как ребенка.

Пахло машинным маслом. И бензином. Рядом горела машина. Бензин разливался по асфальту. Все сильнее хотелось пить.

— Боже... Господи... дай мне воды... воды...

Она бы встала на колени и хлебнула бензина, если б смогла.

В небе появились самолеты. Они обстреливали землю. Зиновия села на землю и пригнулась. Коснулась подбородком колен и закрыла затылок правой рукой. Боль в сломанной руке становилась все сильнее. Надо было кричать от такой боли, и Зиновия закричала.

Ей казалось, что она кричала. Из ее глотки вырвался жалкий хрип.

Времени не стало. Сумерки? День? Полночь?

— Господи... спаси нас... пошли нам дождя...

Пошел мелкий черный дождь. Зиновия задрала голову, раскрыла рот и ртом ловила капли. Потом она встала на колени и пила воду из вмятины в расколоте камне.

Огонь, дым и немного воды. И так тяжело дышать. И Вера лежит, не двигается. Может, она уже умерла.

— Вера... Вера...

* * *

...она открыла глаза и ощутила, что лежит на подстилке, сшитой из огня.

Спина горела. Это сгорели ее крылья.

Они сгорели и обожгли ей спину, и внутренности, и все, что было в ней живой нежностью и жизнью.

...ничего не помнила. И — не понимала.

...нет, немного припомнила: оглянувшись, а на заднем сиденье — она сама. Сидит и усмехается. Близнец. Глядит на нее. А она — на себя. Смотрят друг в друга, как в зеркало! Вот ужас, сказала она себе беззвучно, изыди, сатано!

...и только хотела перекреститься — как вдруг этот, Последний Огонь.

...а где сейчас-то она? Лежит? Или летит? И вдруг это пламя еще не последнее?

...ужас весь в том, что — да, последнее.

...ужас Последнего.

...начать и тут же оборвать. Рвется нить. Или ее рвут. Врут. Сами себе врут.

...бабочка. Она бабочка. Раскинуты крылья. Мрачные очи, золотые ободы. Бабочка умерла. Ее выкинули в белый огонь снега, в форточку, в ночь. И она сгорела в белом пламени. Не дали долететь.

...женщина тащит, тащит ее в укрытие, забота и любовь, они ведь тоже последние, и как она раньше не понимала, а вот теперь поняла, даже без сознания понимала, а теперь, в сознании, сама заботой и любовью стала, ко всем, да, ко всем, и к самым жалким и последним, да только ее срезали, срубили под корень, под самый комель, она лиственница, крепкая, железная сибирская лиственница, и на нее нашелся топор. Топор нашелся — на всех.

...сердце билось, колотилось, крыльями птицы трепыхалось, вот-вот защебечет, подстреленный говорящий попугай, слово последнее прочирикает: не мучь! Отпусти!

...черный крест во все небо. Широкий, тяжелый чугунок. Падает. На нее! На всех!

...так болит? Почему так все тело болит? Все тело — ожог. Всю жизнь обнял огонь. И вымазал. И выжег. Огонь, небесный елей, помазал, благословил. Все рождено в огне и в огонь вернется.

...на короткий миг, равный веку, к ней пришло сознание. Она осознала Бога, и себя, и последнюю войну, и судьбу. Сознание того, что произошло, подарило ей радость причастия, ужас бесповоротности и резкую боль навечного ухода. Не себя — всех. Она лежала спиной на земле, на горячих камнях, и не видела, как над ней, стоя на коленях, наклонялась Зиновия; она лежала, вытянувшись, так навывтяжку стоят солдаты в строю, да она и была солдат, как любой монах, монахиня всего лишь солдат огромной, бесчисленной армии Божией, она лежала-стояла навывтяжку перед небом, приبلудная хромоножка, и широко, до отказа распахнув налитые болью глаза, она увидела над собой, перед собой небо, а в небе — в налетающих друг на друга, громадных черных, огненных облаках — огненный, светящийся Град.

Облака из страшных и мрачных вдруг сделались пухлыми, прозрачными, ясными, излучали веселое сияние. Они росли и таяли и опять царственно возникали из пустоты. Небесный ветер медленно, радостно нес их по великому простору, и своими призрачными вершинами они уходили в надмирный зенит.

Вера смотрела вверх, все вверх и вверх, и она увидела над собой — в облаках — Град свой Небесный, Небесный Иерусалим, мечту.

Дом плыл по небу. Дом, храм, четыре каменных стены и факелы по четырем его углам, и сверкают смарагды густой бешеной зеленью, и горят радужные, остро ограниченные адаманты, и пылают болотные, лягушьи хризопразы, и жжет глаза пятнистая яшма, леопардовая шкура. Дом величиною с целую землю! Да, нас всех ждет эта земля. С четырех сторон двенадцать ворот, но разве я их сейчас смогу сосчитать? Кирпичи из сапфира, дышащего морем, узоры из змеиноного халкидона! Сардоникс, сердолик мерцают углями, головешками в остывшей печи. Испеки блины ближнему своему! Пожарь картошку! Нет ничего святее и чище простой любви и заботы. А когда встанут перед тобой зимние столбы, выточенные из ледяного берилла, — обними их и поцелуй их, не бойся их. Человек не боится льда, не боится ненависти, зависти, огня и смерти. Он боится только Бога: когда нагрешит, когда убьет.

Громадный дом-корабль плыл по небесам, и борта сияли винным аметистом и лимонным топазом, а ближний Ангел трубил в трубу, и она под звездами горела, изукрашенная крупным, цвета рябины на морозе, гиацинтом. Дом жемчужно и радужно светился в небе, принимавшем то темный, то золотой цвет. Меха небесной гармонии раздувались, опадали. Неужели все мы там будем жить когда-то? Мы все?

Перед домом текла река. Чистая вода. Ни грязинки, ни соринки. Ни мазутного масла. Ни яда, ни отравы. В небесах оно все так; там все чисто и благодатно. Вода в реке светится сильнее паникадила и сверкает ярче январского хрусталя, а на берегу реки растет Древо Жизни; лишь раз в жизни собирает человек его плоды, а Богу и вкушать их не надо: Бог лишь поглядит на них — и сыт уже, и жив, и живет вечно.

Факелы горели, воздымались высоко по четыре стороны гигантского куба, крепко среди туч и облаков стоял дом, нерукотворно сработанный для вечности, усаженный и униженный яхонтами и перлами, как невеста, украшенная для возлюбленного мужа своего; и дальние Ангелы тоже творили музыку: один Ангел играл на скрипке, другой Ангел играл на арфе, а третий Ангел широко разевал рот. Он пел. Песня не доносилась сюда, на землю. А вот арфу и скрипку было еле слышно. А вот сейчас, ура, Вера услышала трубу!

И еще немного погодя — голос.

Она наконец услышала голос.

Это она сама стояла на стене Града Небесного — и пела.

Она пела о доме, Небесном Иерусалиме, прибежище и скинии любящего Бога: о том, что Град Небесный век пребудет домом прощенных, омытых от грехов, бедных людей.

Люди, вы же на краю бездны стоите! И глядите вниз. А вы лучше головы поднимите! Поднимите!

Бог восходил над Градом Небесным, Он теперь светил людям вместо утраченного солнца, и свет, доносившийся отовсюду, был одновременно и могучим, и нежнейшим. Звезды внезапно пробились сквозь облака, прокололи их серебряными стрелами, окружили дом-храм и на глазах Веры превратились в мощный сияющий заплот; он сверкал ярче алмаза и сильнее чистого золота. Вера зажмурилась: глазам больно! А сердцу, сердцу радостно. Вот ты какое, небесное счастье! Я и не думала, родное, что ты такое...

Доносились нежные переливы арфы, торжественный петушинный клекот трубы, а дальний Ангела голос пел обо всем, о чем угодно; о чем Вера желала сию минуту, о том

он и пел: о чистой холодной воде из колодца, о синей яркой воде Енисея, о зимних могучих, царственных кедрах на юру, о матери, у которой убили ребенка, о бритом зэке, что был одинок на всем свете и так хотел любви и ласки; о змее, обвивающей грудь старого циркача, о монахе-расстриге, что нашел смерть в бурном зеленом море и отправился к рыбам и морским звездам, на дно; о бандите, что пулю в живот получил от слабой испуганной бабы, об нее уже ноги вытирали, как о старый ковер, и ждали ее лютые муки и скорая смерть; о колючей проволоке, о празднике, где плещутся красные кровавые флаги, о метелях и вьюгах, безумнее белого пламени, что плела на коклюшках, напевая тихую песню, толстая старая кружевница, выплетая опухшими узловатыми пальцами белые пихты и белые сосны, белую фату и белый саван, призрачные нежные снега и белые прозрачные облака, и о том Огне, что в этом году на Пасху в храме Гроба Господня, видать, не зажегся, вот оно все вниз и покатилося. И тонкая, паутинная жалоба скрипки в руках дальнего, на западной стене, строгого Ангела с буранными крылами надвое разрезала Верину еще живую душу.

Великое счастье объяло ее. Счастье случилось, какое послано видение!

И вот оно, вот! Бог идет по улице Небесного Града, по золотым ее камням. Бог спускается к Вере своей по золотой лестнице: ступени горят, Ангелы по обеим сторонам золотой лестницы реют, трепеща крыльями в чистоте сияющих небес; Бог спускается медленно, нащупывая невесомыми стопами пылающие золотые ступени, вот Он все ближе, и Вера уже может рассмотреть Его глаза, Его улыбку.

Да Ты же тоже человек, думает она смущенно и потрясенно, ну да, я так и знала, Ты всегда был человеком, Ты же на землю, к нам, человеком пришел, Ты и сейчас, в День Последний, нас не оставишь! Она бормочет: я смерти не боюсь, нет-нет, совсем не страшно, а там, на небесах, меня встретит в воротах Рая моя собака, Рыжуля? Она слышит голос: «Сие есть дочь Моя возлюбленная!». По-русски Он говорит? По-арамейски? На языке души? И вот Он рядом с ней, и садится возле нее на корточки, и она видит: Он тоже обожжен, кожа Его вспухает призраками последних ожогов, и Он почему-то в летной форме, погоны сверкают, пилотка, выпачканная сажей, сползает на затылок, падает наземь, и Он встает на колени, наклоняется и крепко обнимает Веру.

И вокруг до неба встает музыки чистое пламя, Ангелы играют все громче, и громко и прозрачно, на весь мир, на всю войну поет последнюю песню самый далекий Ангел, да он еще ребенок, и снеговые его, метельные крылья раскинулись на полнеба; на полнеба — метель, и на полнеба — пламя, так заведено, так Бог положил жить всем нам, и только два лица сияют, мерцают рядом — Бога лик и Верино лицо.

И оба лика — уже икона, золотая, горькая. А грязь на ней превращается в скань. А кровь, ею исполосована, щедро залита икона, обращается в благовонное миро святое; вот она, люди, последняя беспомощная, безумная сказка ваша. Последний ваш, слезами залитый святой образ. Последнее объятие: старый, в морщинах, без имени узник, грязный, небритый, слезы ползут по щекам и горят жемчугами прозрачными, призрачными, стоит на коленях перед лежащей молча, смирно безымянной бабой, черная ряса черным ковром лежит на ярком белом снегу, а может, на солнечном жгучем песке, руки старика живыми, обожженными ветвями, золотыми небесными водорослями, рыбами, любовно играющими в пахтанье небесного океана, обвивают лежащую, светло-бездыханную, нет, еще дышит. Последнее дыхание. Сияние последнее. Отец напоследок обнимает Дочь, девочку, счастье, великую Веру свою.

* * *

...а рядом горько плачет, сидя на сожженной земле, уткнув лицо в грязную кровавую ладонь, еще живая женщина, черные волосы ее развились, и перепутались, и вы-

мокли в крови, и рука висит вдоль тела мертвым канатом, и колени бесстыдно расставлены под истлевшей юбкой, и грудь изранена шальными осколками камня и железа, а ведь еще вчера она была поющим Ангелом, ребенком, и стояла на стене алмазно сверкающего в небесах дивного вечного Града, и пела — со звезд — людям о любви великую, вечную песню.

* * *

Ничего, ничего, я шепчу себе, ничего, мы еще поживем.
До того, до того, до того, как однажды умрем.
На чело, на чело положите немой поцелуй.
Ничего, ничего, это снег, лепет его в ночи перевитых струй.

Никогда, никогда, никогда я больше не буду такой —
Молодой, кровь с молоком, стоящей над ледяною рекой
В этой шубе волчьей,
В чужом кудрявом табачном дыму,
Около печи холодной, молча, в родном рыдальном дому.

Мир — родильный дом,
Мы рождаемся заново всякий раз.
Бог глядит нам в слепые прорези
Прижмуренных от лисьего визга глаз.
Не забудь, не забудь, я шепчу себе, тот, под березой,
Во мху синего инея
Ржавый замок,
Что целовала ты на морозе,
Под собой не чувствуя ног.

Подожди! Подожди! — я кричу. Свечу зажги! Надвигается рать!
Не гляди, не гляди, не видать ни зги, как буду я умирать!
Да не буду, конечно, нет, врет богослов, я останусь жить —
В этой белой палате, во вьюге бинтов,
Мне здесь голову не сложить.

Ты не верь, не верь, если скажут тебе, что меня больше нет.
Просто выйди и закрой дверь. Выйди и выключи свет.
Ничего, ничего, так шепчу себе, я ведь просто храм на Крови —
Мы еще поживем, мы еще поцелуем
На страшном морозе
Стальной окоем —
В Вере, в Радости и в Любви.

...Ты еще помолись, поплачь, я с тобой вдвоем,
Ты еще поживи, поживи.

КОНЕЦ ЗЕМНАГО ХОЖДЕНИЯ ПО ГОРЮ И РАДОСТИ
СВЯТОЙ ВЪРЫ